

**Военные  
приключения**

# **ПОДЖИГАТЕЛИ "НО ПАСАРАН"**



**НИК. ШПАНОВ**

Поджигатели

Николай Шпанов

**Поджигатели. «Но пасаран!»**

«ВЕЧЕ»

1949

**Шпанов Н. Н.**

Поджигатели. «Но пасаран!» / Н. Н. Шпанов — «ВЕЧЕ»,  
1949 — (Поджигатели)

ISBN 978-5-4444-0202-3

Черная завеса нацизма накрыла Германию. Теперь фашистская камарилья строит новые планы – воссоздать военную мощь, чтобы перейти к покорению Европы и всего мира. Для этого хороши все методы: убийства, заговоры, подкупы, предательство... Сторонников и покровителей у коричневой чумы хватает, но далеко не все люди согласны равнодушно смотреть на то, как на планету накатывает волна очередной мировой бойни. Испания! Именно там новоявленным «хозяевам человечества» приходится столкнуться с отчаянным сопротивлением. Широко известный роман автора многих советских бестселлеров, которыми зачитывалось не одно поколение любителей остросюжетной литературы.

ISBN 978-5-4444-0202-3

© Шпанов Н. Н., 1949

© ВЕЧЕ, 1949

## Содержание

Часть первая	6
1	6
2	13
3	16
4	19
5	22
6	28
7	30
8	32
9	36
10	44
11	46
12	49
13	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# **Ник. Шпанов**

## **Поджигатели. «Но пасаран!»**

© Шпанов Н.Н., 2012

© ООО «Издательство «Вече», 2012

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Часть первая

### Высокопоставленные мишени

*Европа, ныне восхищенна,  
Внимая смотрит на восток...*  
*М. Ломоносов*

#### 1

Уэллс вернулся из парка культуры физически разбитым. Все время что он сидел в Зеленом театре, ему что-то говорили, объясняли, переводили слова артистов. Но он почти ничего не слышал и глядел вокруг себя прищуренными глазами, не отвечая. Он был под впечатлением утреннего разговора и, напрягая память, старался восстановить детали встречи, каждое слово собеседника. Всем существом он ощущал, что каждый звук, каждая интонация этих слов должны иметь для него и для всех, кто услышит их через него, особенное значение.

Не дослушав концерта, он уехал.

Он с удовольствием вошел в прохладный номер гостиницы, снял размокший воротничок и подошел к окну. Оно выходило на площадь, за которой возвышалась стена Кремля.

Уэллс старался разобраться в своих впечатлениях. Свойственное его характеру саркастическое упрямство мешало ему признаться, что даже этих двух дней в Москве было достаточно, чтобы зачеркнуть все, что он записал после приезда из России в 1920 году. То, что представлялось ему тогда «электрической утопией», можно было теперь видеть, трогать руками.

Каким легкомыслием казалось ему теперь его собственное заявление о том, что «марксистский коммунизм является теорией, которая не включает никаких творческих идей и явно им враждебна». Увы, эта фраза останется черным штрихом в биографии автора фантастических романов, расписавшегося в бессилии своей фантазии. Странное признание сделал он тогда своим читателям: «Можно ли представить себе более смелый проект в обширной, плоской стране, с бесконечными лесами, безграмотными мужиками и ничтожным развитием техники!.. Вообразить себе применение электрификации в России можно только с помощью очень богатой фантазии». Да, тогда он, романист, не смог себе этого представить. Советская действительность превзошла полет его, Уэллса, писательской мысли. Способен ли он публично признать все, что видел и слышал вчера и сегодня, за истину, против которой нет смысла спорить?..

Он переменял воротничок и пошел в ресторан. Зал был пуст. В ярком свете люстр столики на голубом ковре сверкали хрусталем и белизною накрахмаленных скатертей, как льдины в море. Было очень тихо. Ковер и деревянные панели стен поглощали звуки.

В дальнем углу Уэллс увидел знакомого английского журналиста. Он сидел с немцем, которого Уэллс тоже знал. Уэллсу не хотелось пустой болтовни, и он направился было к другому столику, но англичанин уже встал и отодвинул для него стул. Уэллс – в Москве! Это было хорошим товаром для журналиста.

Пришлось сесть. Однако усталый вид Уэллса говорил о том, что его нелегко будет расшевелить. Вероятно, поэтому англичанин вернулся к прерванному разговору с немцем.

– Я делюсь основными положениями статьи, посланной вчера в мою газету, – пояснил он Уэллсу.

Уэллс равнодушно посмотрел на него: ему было совсем неинтересно знать, что думает этот человек.

Однако после первых же фраз он невольно стал прислушиваться. Англичанин говорил немцу:

– Японии предназначено сыграть очень большую роль в будущем Востока. Я убежден: она пойдет к своему назначению с непоколебимой решимостью. Я всегда считал ошибкой прекращение нашего союза с Японией.

– Мне кажется, Саймон совершенно прав, – сказал немец. – Англия должна гарантировать только одну границу – французскую. Тогда мы, немцы, могли бы взять на себя наведение порядка в Восточной Европе.

– Именно так и должно быть! – подтвердил англичанин. – Франции не следует давать возможности сговориться с Москвой. Мы с вами должны общими усилиями убедить мир в том, что пора покончить с попытками организации пресловутого блока «белых». «Желтая опасность» для Европы – воображаемая опасность. Если гарантировать от японских appetites наши восточные воды, то мы ничего не имели бы против того, чтобы развязать японцам руки на дальневосточной границе Советов.

– Вполне разумно, – согласился немец. – Конечно, если бы до того нам дали возможность вооружиться.

– Вам ее дадут. В Англии достаточно людей, которые понимают, что между нашей Европой и Дальним Востоком расположен политический и экономический резко антагонистический организм. Нужно договориться с вами и с японцами и взять Россию в клещи.

– Является ли это лишь вашим личным взглядом?

– Так думают влиятельные лица в Англии, – с важностью заявил журналист. – Один из них сказал мне: «Япония может довести корейско-маньчжурскую границу до Ледовитого океана и аннексировать дальневосточную часть Сибири, при условии, конечно, что наши интересы будут обеспечены, например, ленскими золотоносными землями. Союз Англии и Франции сделает невозможной немецкую экспансию на запад. Мы откроем ей дорогу к России».

– Очень, очень разумные мысли! – воскликнул немец. – Почти так же говорится и в книге фюрера!

Уэллс с раздражением постучал ножом по тарелке, подзывая официанта.

Англичанин быстро взглянул на него и понял, что нужно переменить тему.

– Говорят, вы были сегодня в Кремле? – спросил он писателя.

Уэллс пробормотал что-то неразборчивое и, отодвинув стул, встал. Стул зацепился за ковер и упал. Уэллс, не оборачиваясь, вышел из ресторана.

Немец смотрел ему вслед с удивлением.

– Он всегда всем недоволен! – насмешливо произнес англичанин. – Если бы мы с вами хвалили большевиков – он стал бы их бранить. Таков характер.

– Очень странный характер, – сказал немец.

– Просто дурной характер, – желчно согласился англичанин.

В коридоре на своем этаже Уэллс столкнулся с Паркером. Уэллс не сразу узнал американца, хотя его красное лицо показалось Уэллсу отдаленно знакомым.

– Не узнаете? – улыбнулся Паркер. – Мы встречались в Лондоне.

– А! Вспоминаю: вы еще собирались в Китай, «который нечто вроде России».

– Прекрасная память, сэр!

– Это профессиональное – запоминать глупости. Они всегда могут пригодиться, – сказал Уэллс и скрылся за дверью своего номера.

Он не успел сбросить пиджак, как позвонили от портъе; прибыл нарочный с пакетом из Кремля.

Уэллс нетерпеливо разорвал конверт. Это была объемистая стенограмма утренней беседы в Кремле. Как ни странно, но только что слышанное в ресторане освещало беседу новым, неожиданным для Уэллса светом: теперь сличить собственные записи, относящиеся к

встрече, с точной записью кремлевского стенографа. Правда, стенограф не отразил ни выражения лиц собеседников Уэллса, ни их интонаций, но все это достаточно крепко держала память писателя.

«Так, – подумал Уэллс, – посмотрим же, как тут записано мое “выступление”. Быть может, я сказал что-нибудь, чего вовсе не собирался говорить. Это бывает, когда волнуешься...»

Он принялся просматривать стенограмму:

«...Я недавно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи... Поездка в Соединенные Штаты произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый финансовый мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь страны. Ленин в свое время сказал, что надо “учиться торговать”, учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического, хозяйства. Вы и Рузвельт отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной связи, идейного родства между Вашингтоном и Москвой?..»

И вот ему терпеливо, но настойчиво разъясняют, как способному, но запутавшемуся школьнику: у США другая цель, чем у коммунистов в СССР. «Та цель, которую преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы, хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частнокапиталистической деятельности, не меняя экономической базы. Они стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, которые причиняются существующей экономической системой».

Уэллс усмехнулся: хорошо, что он не американец, а то бы ему пришлось с пеной у рта доказывать, что в США никакой неурядицы нет и никакой разрухи тоже нет. Но нет, он не собирается выступать в роли адвоката янки – факты, как говаривал, кажется, Ленин, – сильная вещь, с ними трудно спорить, и прав его собеседник, когда делает из этих фактов вывод:

«Таким образом, в лучшем случае речь будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении старого общественного строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов. Субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают общество, но объективно нынешняя база общества сохраняется у них. Поэтому, объективно, никакой перестройки общества не получится...»

Разве можно не согласиться со всем этим? Не выглядел ли он, Уэллс, немножко наивно, когда ему пришлось выслушать объяснение о том, что теоретически, конечно, можно допустить, что и в условиях капитализма можно шаг за шагом идти к той цели, которую он, Уэллс, называет социализмом в англо-саксонском толковании этого термина? Это не было произнесено иронически, и не будь он, Уэллс, тем, кем был, он, может быть, и не уловил бы тончайшей интонации, из которой должен был понять, что его понимание слова «социализм» – по меньшей мере легкомыслие, чтобы не сказать больше. Согласен ли он с этим?.. Скорее нет, чем да. Не будь его собеседником Сталин, он, Уэллс, может быть, и продолжал бы эту дискуссию в чисто теоретическом смысле. Но это не тот оппонент, с которым можно вступить в спор на подобную тему, заранее не вооружившись до зубов. Казалось бы, он должен был идти в Кремль именно во всеоружии для такого разговора, но что делать, если уже там он обнаружил, что все, что было у него в запасе, до беспомощности слабо перед утверждением оппонента, что этот его «англо-саксонский» социализм в приложении к нынешнему положению Соединенных Штатов будет означать не больше, чем некоторое обуздание отдельных, наиболее необузданных акул капиталистического мира путем некоторого регулирования в народном хозяйстве. Может ли это что-либо дать в смысле серьезного преобразования всей системы как таковой? Конечно, нет! Как только Рузвельт или какой-нибудь другой капитан современного буржуазного мира



захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он не может не потерпеть неудачи, так как ему будет противостоять весь мир банков, весь мир монополий – весь мир крупных собственников, в чьих руках находится все хозяйство страны.

Тут уже сам Уэллс должен был домыслить то, что не было досказано собеседником: да и захочет ли кто-нибудь из капитанов буржуазного государственного корабля, – даже Рузвельт, – предпринять такое плавание против течения?.. Едва ли! Зачем? Ведь подобный поход против основ капитализма означал бы разрыв с теми, кто является фактическими хозяевами и самого его, Рузвельта!..

Уэллс не заметил, как от чтения отчета он перешел к размышлению на эту неожиданную для него тему, кто же является чьим хозяином в том мире, где живет он сам и где живет Рузвельт: хозяйство ли и капитал подчинены государству, или оно само, государство, вынуждено подчиняться фактическим хозяевам капиталистам, то есть опять-таки развиваться не по велению разума, а по воле главарей монополий?!

Рука писателя машинально перебирала лежащие на коленях листы, и взгляд его почти так же машинально скользил по строкам отчета:

«...Переделка мира есть большой, сложный и мучительный процесс. Для этого большого дела требуется большой класс. Большому кораблю – большое плавание.

Уэллс: Да, но для большого плавания требуются капитан и навигатор.

Сталин: Верно, но для большого плавания требуется прежде всего большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела.

Уэллс: Большой корабль – это человечество, а не класс.

Сталин: Вы, г-н Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии».

Звякнул телефон. Уэллс с досадой сбросил телефонную трубку с аппарата.

Еще минуту тому назад Уэллсу казалось, что он знает в стенограмме каждое слово, но стоило ему просмотреть несколько страниц, и он опустил листки на колени, в задумчивости уставившись в окно. Странно, ведь он не услышал в ресторане ничего нового ни от англичанина, ни даже от немца: настроения той Европы были ему отлично известны и раньше. Так почему же он утром в Кремле возражал против многих ответов Сталина, которые сейчас, в свете только что слышанного, представляются ему неоспоримыми? Неужели только из обычного для себя духа противоречия? Нет, это было бы несерьезно, недостойно. Так в чем же дело, почему пришедшие ему сейчас на память слова этого глупого немца, наверное, фашиста, и такого же глупого англичанина заставили смотреть на свои собственные слова более строгими глазами, чем он смотрел утром?

Не в силах проанализировать свои чувства, Уэллс поднял с колен листы и стал читать дальше.

«...Сталин: Конечно, старая система рушится, разлагается. Это верно. Но верно и то, что делаются новые потуги иными методами, всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов. Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим, всегда была борьбой, борьбой мучительной и жестокой, борьбой на жизнь и смерть.

...Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что вы будете делать с фашистами? Уговаривать их? Убеждать их? Но ведь это на них никак не подействует. Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия.

Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй, не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки...»

Пришлось прервать чтение, так как Уэллс с досадой обнаружил, что трубка его снова погасла, и принялся ее сосредоточенно раскуривать. Он по опыту знал, что это всегда развлекает. Особенно, когда попадает сырой табак.

А именно сейчас Уэллсу и нужно было отвлечься от прочитанного, оттолкнуться от силы учения Маркса и Ленина, которой на него веяло от листов стенограммы, будивших свежие воспоминания об утренней встрече.

Защитный рефлекс закоренелого скептика требовал ухода от спора с самим собою.

Как это бывало с ним в минуты творческих поисков, он уже увидел свое второе «я» – второго Уэллса, отошедшего в сторону, готового к бою. Но что-то уж очень победоносно глядит на него сегодня тот, второй Уэллс...

Если бы ему довелось беседовать в Кремле еще раз, он задал бы еще очень много вопросов. О многом он не спросил, и многое останется для него не освещенным гением этих творцов новой истории...

Писатель привык копаться в психологии своих героев и искать смысл общественных явлений, слишком привык к тому, чтобы смотреть на происходящее анализирующим взглядом. Могло ли остаться для него незамеченным удивительное явление, происходящее с ним самим? Он, автор «России во мгле», в угоду своему английскому читателю упрямо и последовательно сопротивляющийся фактам, вызванным гигантскими событиями в России; он, приехавший сюда романистом-снобом, для которого, казалось, были заранее решены все социальные коллизии, вдруг почувствовал, что сегодняшнее свидание в Кремле поколебало его душевное благополучие.

Уэллс-писатель стоял в недоумении перед психологическим ходом «романа» о самом себе, романа, который писала рука жизни. Общение с людьми, с которыми он провел это утро, взволновало его с небывалой силой. Его собственной вере в свой авторитет угрожало крушение. Он, привыкший считать себя на голову выше других, вдруг увидел настоящее величие мысли и духа и понял: он, англичанин Уэллс, – карлик. Мысли других людей, представителей совсем иной среды, другого класса, вмешавшись в предусмотренное планом, политическими взглядами автора и его литературными традициями развитие романа, в один день, в один час перевернули его ощущения, восприятие мира и событий. Упрямая сущность британца восставала в Уэллсе против того, чтобы поддаться покоряющей силе такого вмешательства. Ведь это значило бы, что его творчество должно пойти новыми, чужими путями, неожиданными для него самого и для миллионов его английских читателей, путями, которые можно было бы даже назвать антагонистическими в отношении тех, какими он шел прежде. Для англичан он писал, он был частицей их самих, выразителем их самых прочных идей, традиционно британских мечтаний. Поддаться неотразимой убедительности, силе коммунистической идеологии, согласиться с неопровержимостью глубокого и точного анализа значило для Уэллса признать превосходство большинства, олицетворяемого коммунистами, – большинства, всегда отрицавшегося Уэллсом. Признать себя побежденным значило понести читателю новые идеи. Эти идеи были таковы, что должны были бы, подобно бомбе, взорвать все, что он создавал и утверждал до сих пор, – священную уверенность британцев в превосходстве их индивидуалистической философии. Одновременно должна была бы взлететь на воздух и вера остального мира в законное и само собой разумеющееся превосходство человека, рожденного на островах Соединенного Королевства, человека, носящего имя «англичанин»...

Не сдаваться, не сдаваться!.. Это был аккомпанемент, настойчиво сопровождавший каждую мысль. Уэллс наморщил лоб, насупил брови, и пальцы его сжали трубку. Не сдаваться! Пусть разум и совесть говорят ему, что правы они, эти простые русские каменотесы и прядильщицы, слесари и матросы, директора строек из вчерашних шоферов и министры в солдатских гимнастерках. Пусть правы их теоретики, пусть права сама их жизнь! Уэллсу не должно быть до этого дела. Он представитель своего, британского, буржуазного мира, он частица того класса Британии, который на протяжении веков безраздельно господствует над величайшей мировой империей. Он, Уэллс, не только аккумулятор идей и мыслей, рожденных психологией этого класса – хозяина империи, но и один из тех, чье назначение – внедрять эти мысли в сознание остальных рядовых британцев; его долг – подавать эти идеи устойчивости британского мира так, чтобы они загораживали все другие, могущие подорвать благополучие его класса, его мира, его империи. Но, быть может, он тогда попросту обманщик – такой же обманщик рядовых англичан, каким чувствует себя сейчас перед самым собою? Что же, может быть, и так! Даже наверно так оно и есть. «Обман во спасение». И разве церковь вот уже два тысячелетия не занимается тем же самым?..

Окутанный клубами табачного дыма, Уэллс неподвижно сидел в кресле с высокой резной спинкой. Он так ухватился за подлокотники, будто ему нужно было собрать все силы для сопротивления чему-то, что он видел за колеблемою ветром шторой; будто он боялся, что уже сейчас этот ветер превратится в вихрь, ворвется сюда и вырвет его навсегда из удобного, похожего на старинный трон кресла.

Взгляд Уэллса был устремлен на окно. Высоко в небе над Кремлем, отсеченное от земли чернотой ночи, трепетно алело полотнище флага, ярко освещенное невидимым прожектором. Несущееся впереди звезд, мерцающих в далеком небе, оно казалось Уэллсу знаменем таинственного, космически величественного мира.

Он долго сидел у окна, потом раздраженно поднялся и повернулся к нему спиной. Это ярко-красное полотнище сияло, переливаясь перед ним, как знамение его проигрыша в споре, который он вел всю жизнь. Ему еще никогда не было так ясно, как сегодня, что, формально отрекшись от фабианства, он никогда не уходил от него. Его проповедь грядущего царства технократии – только версия фабианского эволюционизма. Вся его жизнь ушла на утверждение того, что русская революция зачеркнула уже на шестой части земного шара. Если мыслить историческими масштабами, как он пытался мыслить всегда, то...

Может быть, было бы лучше для него, Уэллса, никогда не вспоминать о приглашении Ленина: «Приезжайте в Россию через десять лет». Было бы лучше не приезжать теперь. Он приехал, чтобы убедиться, что вся его жизнь оказалась ошибочным утверждением ошибочных вещей. Даже трудно поверить, что это он сам сказал когда-то: «Советское правительство должно послужить исходной точкой новой цивилизации» и «созидательная и воспитательная работа большевиков, как скала надежды, возвышается над окружающей бездной». Гордиться ли ему тем, что когда-то у него хватило смелости написать эти строки, или жалеть о них? Ведь сколько бы он ни спорил теперь с самим собою – читатели хотят верить этим словам, а не его новым героям. Человечество потому и сумело пронести светоч своих идеалов сквозь века мрака, что всегда стремилось верить таким, хотя бы нечаянно вырвавшимся возгласам правды, а не злобному бормотанию призраков вроде вылезшего из «Каинова болота» Паргейма.

Какое смятение в душе!..

Неужели прав был Энгельс, говоря, что фабианцы понимают неизбежность социальных переворотов, но страх перед революцией – их основной принцип. Может быть, «Россия во мгле» – не правда о том, какую он видел Россию, а всего лишь защитная реакция против того, что он боялся провидеть?..

Он не знал... ничего не знал, но ему хотелось думать, что никто не смеет сказать, что он, Герберт Джордж Уэллс, не потратил жизнь на поиски истины. Но сможет ли хоть кто-нибудь

сказать, что он нашел эту истину, если он и сам не смеет об этом подумать? И что это была за «истина»?! Искать всю жизнь и найти совсем не то, что искал!.. Современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен! Это Уэллс знает и сам, потому он и издевался всю жизнь над капиталистами. «Пока капитализм не будет разрушен, он будет продолжать глупо и бесцельно растрачивать человеческое достояние, бороться со всякими попытками эксплуатировать природные богатства для всеобщей пользы, а так как конкуренция является его сущностью, он неизбежно будет вызывать войны...» Ему помнится так.

Что же, Уэллс не спорил с этим и тогда, в двадцатом году, не спорит и теперь. Что же?.. Бытие не вечно – важно то, что останется после тебя... А что останется после Герберта Джорджа Уэллса? Романы, утверждающие очевидные ошибки выдуманных героев?..

Уэллс устало провел ладонью по лицу, разделся. Но и лежа в постели, он продолжал думать о том же. И всякий раз, когда он поворачивался на правый бок, ему становилось видно окно и за ним уносящееся в темную даль сияющее алое знамя. И так ярко было это видение, что Уэллс до осязаемости ясно представлял его себе даже тогда, когда закрывал глаза.

Он встал, подошел к окну и нетерпеливо задернул тяжелую штору.

## 2

Заметив, что Лемке притормозил и намеревался повернуть направо, Винер сказал:

– Прямо!

– Но, господин доктор, я хотел проехать по Виландштрассе.

– Нет, нет! – раздражаясь, крикнул Винер. – Вам говорят – прямо! Вечно у вас свое мнение!

Переждав поперечный поток автомобилей, Лемке послушно пересек Курфюрстендамм. Приходилось делать ненужный крюк. Но Винер не выносил возражений, и Лемке должен был ехать, как тому заблагорассудится. В конце концов, за бензин платил Винер.

А Винер хотел еще раз взглянуть на витрину антиквара на углу Вильмерсдорф и Зибельштрассе. Было любопытно узнать, продан ли этюд Маркэ. Чертов торгаш просил за него вдвое больше, чем он стоит. Останавливаться у лавки Винер, конечно, не станет, чтобы не обнаружить своего интереса.

Автомобиль поравнялся с антикварным магазином, и, к своему разочарованию, Винер увидел, что интересующего его полотна в окне уже нет. Значит, кто-то из новых собирателей опять опередил его! Они готовы платить какие угодно деньги, лишь бы на полотне была более или менее известная подпись.

Однако дело сейчас не в нуворишах, а в плане, задуманном Винером благодаря случайному вмешательству Асты.

Девчонка – молодец! У нее отцовская голова! Несмотря на свои шестнадцать лет, она прекрасно разбирается в политике. «Теперь, папа, – заявила она, – нам надо собирать не изображения христов или купальщиц, а портреты фюрера и его шайки». Может быть, это вырвалось у нее случайно. Но сказано верно. Да, он отведет под картины нацистского содержания угол направо от входа, чтобы эта часть коллекции первую бросалась в глаза.

Автомобиль остановился. Лемке соскочил со своего места и отворил дверцу. Винер выставил одну ногу и огляделся по сторонам, будто чего-то опасался. Затем не спеша вылез на тротуар и окинул взглядом самый обыкновенный дом, каких тысячи в Берлине. В них живут, вероятно, тысячи никому не известных начинающих художников вроде этого Цихауэра. В прошлый свой приезд Винер уже договорился с ним об изготовлении копии с работы кого-нибудь из лучших мастеров. Когда Винер узнал от своего портного о существовании этого Цихауэра, он осторожно познакомился с двумя копиями, которые тот делал, еще будучи в Школе искусств. Копии были великолепны. Нынешняя ситуация тоже вполне соответствовала планам Винера: художник сидел без пфеннига и, наверное, готов был взяться за любой заказ.

Лифт остановился на пятом, последнем этаже.

Когда Винер вошел в мансарду, художник лежал на диване. При появлении Винера он нехотя спустил ноги с дивана, не спеша поднялся и, не запахивая пижамы, пошел навстречу гостю. От Винера не укрылось, что Цихауэр мимоходом накинул простыню на мольберт.

Винер решил, что под этой простыней скрывается набросок того, о чем они толковали. Но как мог художник заниматься копированием тут, в своем ателье, вдали от оригинала?.. Впрочем, на этот вопрос могли, по-видимому, ответить разбросанные повсюду многочисленные изображения Иисуса. Это были репродукции картин разных мастеров – целая груда фотографий, гравюр и просто открыток. Значит, Винер не ошибся: Цихауэр уже занят его заказом! Даже не получив задатка! Видимо, малый еще голоднее, чем можно было предположить. Прекрасно! Прекрасно! Сейчас Винер его ошеломит: «По боку всех христов, милейший!» И изложит уже сложившуюся у него в голове идею будущей картины, которая будет называться «Фюреры». Нечто вроде «Ночного дозора» Рембрандта – все главари коричневой шайки в сборе, пышные мундиры, ордена, знамена! Громы и молнии!

Потирая руки, Винер стоял в ожидании, что художник заговорит первым и поделится своими замыслами. Но Цихауэр тоже молчал и до неделикатности пристально разглядывал лицо Винера. Будто речь шла не о копии с изображением распятого, а о портрете самого заказчика. Его портрет! Скоро Винер, конечно, закажет его. Но кому? Это будет первоклассный, признанный мастер, чье полотно на выставках привлечет внимание одной подписью; либо, если уж это будет дебютант, то такой, который его портретом начнет восхождение к вершинам славы!

Цихауэр с такой силой засунул руки в карманы дешевой полотняной пижамы, что ткань обтянула его узкие плечи и впалую грудь с выступающими ребрами. Винер впервые заметил, до чего тощ художник. Впрочем, он впервые обратил внимание и на нечто иное, что его чрезвычайно заинтересовало: смуглое лицо, высокий чистый лоб, обрамленный прядями длинных прямых волос, горящие, немного наискось разрезанные глаза, рыжеватые усики и такая же рыжеватая, по-видимому, очень мягкая борода – все это делало Цихауэра удивительно похожим на того, за чьим изображением Винер сюда пришел. Это сходство показалось Винеру знаменательным. Он сделает хорошее дело с этим парнем!

Видя, что хозяин не спешит предложить ему стул, Винер сам переложил с одного из них пачку альбомов на стол и сел. Художник все молчал.

– Послушайте, – рассердился наконец Винер, – что вы на меня уставились? Я же не заказываю свой портрет!

– Вы что-то сказали о портрете?.. Извините, у меня лихорадка. Я, вероятно, недостаточно сосредоточен.

– К сожалению, да, – недовольно проворчал Винер и тыльной стороной руки разгладил бороду снизу, от горла. – Мне хотелось бы закончить наше дело.

– Да, да... Прошлая беседа натолкнула меня на интересную идею. Я уже многое продумал. После вашего визита я кое-что узнал о вас.

– Позвольте, это моим делом было – наводить о вас справки! – возразил Винер и беспокойно заерзал на стуле.

– О, прошу простить! Это все проклятая лихорадка... Впрочем, не то, не то... Когда меня трясет, голова работает необыкновенно ясно! – Цихауэр поежился от озноба. – Я расскажу вам мой замысел.

Подчиняясь безотчетному любопытству, Винер снял шляпу и положил ее на стол. Он надеялся, что, изложив замысел, художник поднимет простыню с мольберта. Винер с одного взгляда поймет, стоит ли об этом говорить.

– Я расскажу вам свою идею, – повторил Цихауэр. – Вы видели когда-нибудь работу Давида?.. Герард Давид, «Крещение Господне», что висит в Брюгге?

– Я помню репродукцию... – неуверенно сказал Винер.

– Помните лицо Иисуса? Это лицо заучившегося еврейского юноши, из которого родители хотят сделать пророка. В те времена это было небезвыгодной профессией. Если вы не настаиваете на портретном сходстве с известными изображениями Иисуса, то я предложил бы сделать распятого олицетворением Германии, простого немца, обыкновенного, недалекого немца. А страже я дал бы лица наиболее известных сподвижников Гитлера; офицер – он сам... В его руке копье. Оно занесено, чтобы нанести удар распятой Германии...

– Послушайте! – воскликнул в отчаянии Винер. – Вы сошли с ума! Я не хочу вас слушать! – Он решительно взялся за шляпу. – Вам нужно прийти в себя после лихорадки. Так мне кажется, господин Цихауэр!

– Да, да! Вы, кажется, правы, – покорно ответил художник.

Несколько мгновений он смотрел на Винера широко открытыми, лихорадочно горящими глазами и, как казалось Винеру, не видел его и даже, кажется, забыл, что перед ним солидный заказчик, которому дорого время и которому, кроме того, вовсе не доставляет удовольствия торчать в этой душной мансарде... Фу, безобразие! Как странно молчит этот субъект. Винеру

мучительно хотелось прервать молчание художника, но непривычная робость вдруг овладела им; он не мог себя заставить сказать что-нибудь, что вернуло бы художника на землю.

А Цихауэр действительно не видел в эти минуты сидящего перед ним Винера. Его взор ушел во внезапно представшее ему видение будущей картины. Ощущение брезгливой неприязни, вызванное в нем прошлым свиданием с Винером, превратилось сейчас во вспышку острой, непреодолимой ненависти. Рыхлая желтая физиономия фабриканта представилась ему таким ярким выражением идеи наживы, сквозившей в каждой складочке жирного лица, в каждом волосе его бороды, в каждом движении его желтых пальцев и жадно прищуренных глазах, что изображение это показалось Цихауэру достаточным для олицетворения всей алчности всех спекулянтов Германии, торопливо присасывающихся к телу несчастного народа, гонимого на Голгофу нацистами. Будь она проклята, эта желтая жаба с бородой ассирийского царя! Цихауэр даст такое полотно, что, взглянув на него, Винер сам побежит за веревкой.

– Главному персонажу картины – торгашу, пришедшему приторговать вещи казенного, я дам ваше лицо. Да, да! – крикнул Цихауэр и, видя, что Винер в испуге попятился к двери, шагнул к нему, вытянув руки. – Если вы окажете мне честь своим посещением недели через две-три, я покажу вам первые наброски. А эскиз вашей головы я уже сделал.

Цихауэр подбежал к мольберту и сорвал простыню. Несколько мгновений Винер стоял в оцепенении, потом поднял руку, и его трость с треском вонзилась в натянутый на подрамнике холст.

Винер выбежал из мансарды, пронесся по коридору и не помня себя бросился в автомобиль.

Кто-то осторожно постучал в дверь чердака. Это был сын хозяйки. Цихауэра звали в табачную лавку, к телефону.

Художник набросил пальто на пижаму и сошел вниз.

Хозяйка давно не видела своего жильца таким оживленным. А еще уверяет, будто у него лихорадка! Может быть, заказчик дал ему аванс?

– Алло, Аста? – кричал в трубку Цихауэр. – Да, да! Твой родитель был... Гром и молнии? Зато ты не можешь себе представить, что за натура! Да, да, совершенно бесплатно... Отлично, я буду готов через четверть часа... Как всегда, на углу около часовщика...

Он уплатил десять пфеннигов за вызов и даже дал еще пять пфеннигов мальчику, бегавшему за ним. Владелица табачной лавки с удивлением глядела на необычно возбужденного художника.

– Пачку «Реестма», мадам, – сказал Цихауэр, роясь в кармане в поисках денег.

– Берите, берите уж, – хозяйка протянула ему сигареты. – Я запишу.

Она поняла, что пятнадцать пфеннигов были у него последними.

– Приятного вечера, мадам!

В дверях лавочки он столкнулся с новым посетителем.

Когда дверь за Цихауэром захлопнулась, вошедший вынул блокнот и молча взглянул на хозяйку. Без вопросов понимая, о чем идет речь, она отрапортовала:

– Дама. Фамилии не назвала. Голос тот же, что всегда.

– Но называет же он ее как-нибудь?

– Да, кажется, Аста.

– Не кажется, мама, а наверное, – вмешался мальчик, – он всегда говорит: «Аста».

Посетитель взял мальчика за мочку уха и поощрительно сказал:

– Из тебя выйдет толк, малыш!

– Я хорошо знаю, кто вы, потому готов вам служить!.. Хайль Гитлер!..

Покупатель поощрительно щелкнул его по затылку.

### 3

Эгон провел ладонью по блестящим лацканам смокинга, как бы снимая невидимые пылинки. Отец не выносил неряшливости в костюме. А сегодня, в день его рождения, по заведенному обычаю все должно было быть особенно торжественно. Так же, как тогда, когда Эгон был мальчиком, юношей, молодым человеком, когда вокруг праздничного пирога стояли не шестьдесят пять свечей, а сорок, пятьдесят...

В дверях гостиной Эгон остановился. Он увидел мать, склонившуюся над Эрнстом, развалившимся в кресле с газетой в руках. Фрау Эмма ласково гладила сына по голове. Заслышав шаги, она выпрямилась, улыбнулась Эгону и поцеловала Эрнста.

– Когда я касаюсь губами его лба, – сказала она, – мне слышится аромат невинной юности.

Эгон не выносил, когда мать начинала говорить цитатами из плохих «семейных» романов. Резче, чем следовало, он ответил:

– Вы, мама, переоцениваете невинность этого «мальчика».

– Ах, перестань, пожалуйста, ты всегда стремишься испортить мне настроение!

Сердито шурша платьем, она выплыла из комнаты.

Эгон через плечо Эрнста поглядел в газету. Среди мелких заметок одна остановила его внимание – то было сообщение о смерти Марии Кюри.

– Для нее нашлось всего три строки, а тут же рядом о смерти какого-нибудь бандита напишут целую статью.

– О ком ты говоришь? – спросил Эрнст.

– Мария Кюри!

– Какая-нибудь французская девчонка?

Эгон в изумлении посмотрел на брата:

– Ты не знаешь?

– Я предпочитаю немецкий театр.

– Ты действительно «невинен» до полного идиотизма.

– Но, но!

Эрнст вынул сигареты и закурил. Эгон заметил, что сигареты дорогие, египетские.

– Откуда у тебя деньги? Даже я не могу позволить себе таких.

– Каждый имеет то, что заслужил!

В комнату вошел Отто, он был весел, уверен в себе. Вместе с ним в комнату проник терпкий аромат французских духов. Отто кивнул братьям.

– Боюсь, что я привез нашему старику плохой подарок от Гаусса, – сказал Отто. – Мой генерал прислал поздравление, но наотрез отказался приехать на чашку чаю. Ссылается на дела.

Эгон нахмурился и сказал:

– Мне искренне жаль отца.

Эрнст пустил к потолку струю дыма и, вытянув ноги, откинулся на спинку кресла.

– Старик должен был вовремя подумать о том, чтобы не остаться за бортом.

– Ему поздно переделывать себя, – с укоризной сказал Эгон.

– Эрнст прав, – заметил Отто. – Никогда не поздно повернуть, если знаешь, куда нужно сделать поворот.

– Правильно, Отто! А ты, доктор, просто глуп, – сказал Эрнст. – Если бы мы все жили старыми взглядами, жизнь топталась бы на месте.

– Мне противно с тобою говорить, – брезгливо проговорил Эгон.

– Ну, ну, милые братцы, перестаньте ссориться, – пробормотал Отто. – Лучше я расскажу вам новый анекдот...



– Это просто удивительно, – сказал Эгон: – Отто весел, а ведь чуть ли не вчера он был свидетелем того, как убивали Рема, которому он служил.

– Эгон понимает все удивительно примитивно. Я действительно намерен был служить рядом с Ремом, но это вовсе не значит, что я собирался служить Рему.

– Не понимаю...

– Ты действительно ничего не понимаешь! – с досадой отмахнулся Отто.

– А после этой резни стал еще меньше понимать в политике наци, – согласился Эгон.

– Осторожнее, доктор! – проговорил Эрнст.

– Можно повеситься от одной мысли быть всегда и во всем осторожным, даже с глазу на глаз с родными братьями! – Эгон прищурился на дымок своей сигареты. – А то, чего доброго, тоже станешь жертвой очередной ночи длинных ножей... Впрочем, не думаю, чтобы такие эксперименты можно было часто повторять. История не может этого позволить.

– Ты ошибаешься, доктор! – Эрнст был вдвое моложе Эгона, но говорил так, как если бы перед ним был желторотый юнец. – История Германии – это мы! И она не простит ничего тем, кому не простим мы. Варфоломеевская ночь? Нельзя все понимать так буквально. Ночь может быть такою долгой, как нам нужно. Мы можем растянуть ее на месяц, на год, на век.

– Вековая ночь над Германией?

– Над Германией? Над Европой, над миром!

– На все время существования режима наци?

– На то время, пока мы не покорим земной шар. Чтобы покончить с Ремом, оказалось достаточно одной ночи. Чтобы расправиться с евреями, нам может понадобиться год.

– Год святого Варфоломея!

– Да. А там французы. Дальше – очередь славян, негров, – бойко тараторил Эрнст. – Может быть, это будет Варфоломеевский век.

В дверях появилась Анни, высокая красивая девушка в наkolке горничной, и доложила о приходе семейства Винер.

– Доложите фрау Шверер, – сказал Эгон и пошел встречать гостей.

Дверь в столовую распахнулась. Стал виден длинный, нарядно убранный стол. Посредине стоял огромный пирог, окруженный свечами. Шестьдесят пять из них горели. Шестьдесят шестая оставалась незажженной. Фрау Шверер торжественно пронесла свое грузное тело через гостиную. По пути она не преминула ласково дотронуться до щеки Эрнста.

– Пойдемте же, дети, – сказала она, направляясь в переднюю.

Послышались голоса гостей.

Отто взял Эрнста под руку и пошел им навстречу.

Анни докладывала о прибытии новых гостей. Гостиная наполнялась. В центре мужского кружка оказался Эрнст. Закинув ногу на ногу, он говорил о вещах, о которых писали во всех газетах, но которые здесь, в генеральской гостиной, звучали совершенно по-новому.

– Да, – говорил Эрнст с важным видом, – из немца нужно сделать первобытного человека! Иначе мы ничего не добьемся. Человек утратил врожденные инстинкты бойца. Мы сумели воспитать овчарку и добермана и ничего не делаем для улучшения породы наших людей.

– Стыдно слушать, – пробормотал какой-то старик, но так тихо, что его никто не слышал.

– На днях, – сказал Винер, – мне пришлось столкнуться с интересным случаем духовного сопротивления «новому порядку». Оказывается, даже искусство может стать полем борьбы с тем, что несет нам наш истинно немецкий национал-социализм.

Эрнст с любопытством прислушался.

Сгущая краски и выдумывая подробности, о которых ему художник не говорил, Винер изложил замысел Цихауэра. Гости заспорили. Эрнст подошел к Винеру и спросил:

– Кто этот негодяй?

– Его зовут Цихауэр. Он учится в той же школе, что и Аста.

– Папа! – Аста вскочила с места. Несколько мгновений она, задыхаясь от негодования, стояла перед Винером, потом выбежала из комнаты.

Фрау Шверер пригласила гостей к чайному столу.

Гости усаживались, когда Анни подошла к Отто и шепотом сказала:

– Вас просят к телефону.

Отто извинился перед соседкой, крупной, смело декольтированной блондинкой, и вышел.

Он шел по коридору свободной, немного пританцовывающей походкой. У него было отличное настроение. Если ему удастся перехватить у Эрнста, у которого, кажется, снова завелись деньги, можно будет кутнуть в каком-нибудь укромном местечке, увезя туда соседку по чайному столу. Говорят, у нее достаточно мягкое сердце... А сейчас он устроит так, чтобы ее мужа, полковника, немедленно вызвали в штаб округа. Вот только переговорит с Сюзанн, – по-видимому, это она вызывает его к телефону. От нее-то он легко отделается, сославшись на семейный праздник.

Отто небрежно подхватил из рук Анни телефонную трубку.

– У аппарата!..

Блеск монокля в его глазу погас. Стеклышко выскользнуло из-под изумленно поднявшейся брови.

В страхе, словно это был кусок раскаленного металла, Отто выпустил трубку, и она закачалась на шнуре. В ней все еще отчетливо звучал негромкий, спокойной голос:

– Здравствуйте, Шверер, это я, Кроне...

## 4

Как ни скрывал Тельман от тюремной стражи свое общение с мышкой, надзиратели ее заметили. В тот же день щель, в которую она приходила в камеру, зацементировали. Для администрации было достаточно того, что мышшь прибегает с «той» стороны, из мира, находящегося за стенами тюрьмы, оттуда, где люди свободно ходят, разговаривают, где светит солнце и даже воздух разгуливает не втиснутый в стены камеры.

Помощник директора тюрьмы, ведавший внутренним распорядком, в речи, обращенной к надзирателям, назвал мышшь «дыханием жизни, запретной для наказуемых». Развивая эту мысль, он пришел к выводу, что мухи являются таким же дыханием жизни, вестником того, что по ту сторону закрытых козырьками тюремных окон существует мир.

Об этом мире заключенным надлежало знать только то, что считала нужным сообщать администрация тюрьмы – то есть распоряжения тюремного ведомства и суда, непосредственно касающиеся самих заключенных.

Может показаться абсурдом, но помощник директора действительно был близок к истине. В тягостной тишине одиночного заключения даже появление в камере мухи было иногда развлечением. Муха летала. Это было иллюзией пребывания в камере свободного существа. Муха ползала по стене или по столу, где можно было даже оставить несколько незаметных надзирателям крошек хлеба, чтобы привлечь ее внимание. За этим можно было наблюдать: скоро ли запах хлеба привлечет муху? Сколько времени нужно мухе, чтобы доползти от края стола до крошки?.. Сколько сантиметров в секунду пробегает муха, – следовательно, сколько она пробежит в час и сколько времени ей нужно, чтобы доползти от камеры до тюремных ворот?..

Наконец, если прислониться спиной к стене и стоять неподвижно, то муха непременно сядет на лицо, и чем больше будешь ее гнать, тем назойливее она станет лезть к тебе. Это может превратиться в своеобразную игру, во время которой можно даже рассмеяться. Правда, про себя, так, чтобы не было слышно в коридоре, но все-таки рассмеяться...

Дверь камеры со звоном отворилась, и сопровождаемый надзирателем кальфактор внес стремянку. Он молча взобрался к самому потолку и укрепил там липкий лист мухомора. На полчаса это развлекло Тельмана: лист был испещрен рекламными сообщениями изготовившей его фирмы. Часть текста была напечатана крупно, часть мельче, что-то – еще мельче. Было забавно, прикрыв один глаз рукою, разбирать эти надписи. Словно в кабинете окулиста: «Теперь, прошу вас, закройте ладонью левый глаз... Что вы видите на третьей строчке снизу?.. Прочтите, пожалуйста... Ах, вы не можете разобрать?.. А что вы разбираете?.. Правый глаз у вас лучше левого». – «Благодарю вас, господин доктор, я это давно знаю. В том-то и заключается дело: оба глаза должны видеть одинаково...» – «Ах вот как?! Сейчас мы их уравняем... А простите за вопрос: какова ваша специальность, какую работу вы выполняете?» – «Моя специальность?»

Да, действительно, какова же теперь его специальность?.. Сидение в тюрьмах?.. Пожалуй, это на самом деле будет его единственной специальностью. На сколько времени? Вероятно, до тех пор, пока он будет жить назло Гитлеру и наперекор всем стараниям нацистов загнать его в могилу. Он гораздо охотнее, конечно, ответил бы, что его старой и прекрасной специальностью является борьба за свободу немцев, за изгнание из Германии полчищ паразитов, облепивших трудовой немецкий народ, за свержение фашизма и очищение от его миазмов всей немецкой земли. Да, он охотней ответил бы так. Но имеет ли он право на такой ответ?.. Что он может сделать, что он еще сделает в этой камере или в тех камерах, куда его загонят тюремщики, чтобы оправдать подобный ответ?.. Мало, очень мало может он сделать... Почти ничего...

Его работа?..

Тельман опускает прижатую было к глазам руку и в недоумении смотрит на плиты пола...

Какую работу он тут выполняет? Чистит каждое утро и каждый вечер эти плиты?.. Сколько же времени он не выполняет уже никакой полезной работы?

А впрочем... Впрочем, можно ли сказать, что он ничего не делает? Смог ли бы он протянуть здесь столько, сколько уже протянул, не утратив власти над собой, если бы ничего не делал?.. Разве не самое важное в жизни – работа для своего народа и для своей партии? А он может, не кривя душой, сказать, что и здесь он отдавал, отдает и клянется, что будет всегда отдавать все свои силы и помыслы именно им: всему прекрасному народу и своей великой партии!.. В этом-то он может себе дать слово, как готов дать его кому угодно другому. Конечно, то, что он может сделать отсюда, микроскопически мало. И все же... Все же, может быть, хоть крупница его дела и теперь будет внесена в тяжкий, подпольный подвиг партии...

Тельман поймал себя на том, что продолжает стоять, раздвинув ноги и глядя в запыленное, закрытое высоким козырьком окно, где не видно даже крошечного клочка неба. Только по слабому отражению света на внутренней стороне козырька можно с известным приближением догадываться о том, что творится там в вышине: светит ли солнце, или небо заложено тучами, или, может быть, по нему быстро-быстро бегут облака... Бегут... Двигутся... Ах, как бы хотелось ему бежать, двигаться... Хотя немного движения. Его могучее тело с такими крепкими еще недавно мышцами истосковалось по движению. Неподвижность мускулов почти так же невыносима, как неподвижность мысли. Но он может усилием воли, вопреки всему, что делают тюремщики, заставить свою мысль работать, бежать, нестись в любом направлении, с любой скоростью. А что он может сделать для своего бедного тела?.. Три шага вперед... Три шага обратно...

Он стиснул кулаки заложенных за спину рук. Бессильный гнев на короткое мгновение залил сознание. Но Тельман привык бороться с этим бесполезным чувством: что может тут дать бесполезный гнев? Нужно сохранять сознание ясным. Он расцепил сжавшиеся было до боли пальцы.

За спиной снова раздался хорошо знакомый звук отворяемой двери. Но он не обернулся. Зачем? До тошноты знакомое бледное лицо забитого кальфактора с испуганно бегающими воспаленными глазами. За ним хмурая морда надзирателя...

В поле зрения вошла вытянувшаяся из рукава полосатой арестантской куртки худая рука кальфактора. Тазик с серыми полусваренными макаронами, похожими на клубок перепутавшихся червей.

Но вот засунутый в тазик палец кальфактора, – желтый, костлявый, с грязным ногтем, – нечаянно поддевает одну макаронину, и она падает на стол рядом с тазиком.

Тельман не оборачивается. Он остается неподвижным, пока не затворится дверь и шуршащие шаги надзирателя не замирают у соседней камеры. Тогда Тельман присаживается к столу и нехотя подцепляет ложкой несколько макарон. Но все его внимание сосредоточено на макаронине, оброненной на стол кальфактором. Будто она должна быть вкусней остальных. Тельман смотрит на нее, прищурившись, все время, пока ест. Только тогда, когда в тазике ничего не остается, он берет двумя пальцами последнюю, лежащую на столе макаронину. Она уже холодная и скользкая, как настоящий червяк. Он медленно подносит ее ко рту и откусывает по кусочку, как если бы это была трубочка с кремом. Медленно, осторожно, кусочек за кусочком...

Вот его зубы ощутили внутри макаронины что-то постороннее. Но он не прекращает кусать. Только ловким движением языка засовывает это постороннее за щеку. Только ночью, улегшись на отпертую надзирателем койку лицом к стене, он сможет достать из-за щеки крошечный кусочек тонкой пергаментной бумаги, на котором увидит выведенные несмываемой тушью микроскопические буквы: «Пытаемся спасти Иона из Колумбии. Всегда с тобой. Роза».

Кусочек бумаги так мал, что Тельману ничего не стоит его проглотить.

«Ион»... Речь идет о товарище Ионе Шере. Спасти Шера? Значит, его жизнь в опасности. Ну, конечно, раз речь идет о Колумбия-хауз – этом нацистском застенке, куда заточают тех, чьи дни сочтены.

Нервная дрожь против воли пробегает между лопатками Тельмана: Колумбия-хауз!.. Несколько месяцев тому назад Тельману дали знать, что Шер, на плечи которого пала основная тяжесть работы в подпольном ЦК после ареста Тельмана, тоже схвачен гестапо. И вот жизнь Иона тоже в опасности. Тельман отлично понимает, что это значит. Все вполне закономерно. Гитлеровцы боятся Шера. Они боятся его, даже заключенного в тюрьму... Ласковая усмешка трогает губы Тельмана: «Ведь Ион – коммунист; Ион – гамбуржец!» Эти сволочи знают, что значит иметь противником гамбургского коммуниста!.. Это же гвардия германского пролетариата!..

Ион Шер!.. Тельман отлично помнит, с какой непримиримостью он боролся с трусливыми оппортунистами-брандлеровцами, как высоко нес знамя борьбы в дни гамбургского восстания, как громил троцкистов на эссенском партийтаге. А кто, как не Ион Шер, дрался в двадцать девятом с примиренцами, пытавшимися добиться исключения из ЦК самого Тельмана? Да, пожалуй, Шер – один из самых крепких в числе тех, кто в подполье повел партию на борьбу с гитлеровцами. И вот... Жизнь Шера тоже в опасности...

Тельман напрягает память: разве ему не сообщали в свое время, что там же в Колумбии томятся Эрих Штейнфурт, Эуген Шенхаар и Рудольф Шварц – активные функционеры партии?.. Значит, теперь еще и Шер... Неспроста нацисты свозят в это проклятое место лучших сынов партии. Там что-то задумывается... Их жизнь действительно в опасности...

Тельман не спит всю ночь. Только под утро, утомленный бессонницей, он смыкает веки и перед глазами появляются крошечные буковки: «Всегда с тобой. Роза»...

Роза... Милая Роза... Роза...

Имя жены застывает у него на устах. Он наконец засыпает коротким, тревожным тюремным сном под ласковым взглядом больших карих глаз. Это глаза Розы.

## 5

*«Господин Бойс.*

*Неожиданно выяснилось, что в день, на который мы с вами договорились насчет натирки полов, меня не будет дома. Прошу вас прийти двумя днями раньше в те же часы. Необходимо приготовить мастику «Экстра», а то пол очень затоптан из-за плохой погоды последних дней. Ал. Трейчке».*

Бойс повертел открытку в руке и даже попытался посмотреть на свет. Но это была самая обыкновенная открытка из серого тонкого картона, какие он нередко получал от своих клиентов. На ней не было никаких особенных отметин. Невозможно было угадать, прошла ли она через руки цензоров.

Впрочем, через минуту Бойс решил, что подобные размышления излишни. Какое же письмо в Германии не проходит теперь нацистской цензуры? Глупый вопрос! Вот если бы можно было узнать, догадались ли в цензуре о том, что здесь сказано?! Но и этого нельзя было угадать. Оставалось только надеяться, что постороннему отгадать смысл сообщения было трудно потому, что оно не было зашифровано в обычном смысле. Ни один шифровальщик в мире ни одним существующим или вновь придуманным ключом не мог бы раскрыть, что читать открытку следовало так:

«Произошли неожиданные и важные события, требующие связи не в обычный вторник, а в воскресенье. Необходимо подготовить цепочку из самых надежных людей, а то в последнее время усилилась работа полиции; необходима осторожность».

Воскресенье было завтра – открытка пришла вовремя. Действительно ли была в последние дни такая дурная погода? Если нет, то эти слова непременно бросились в глаза цензору, и адресат, – то есть он, полотор Ян Бойс, – уже взят под наблюдение.

Бойс посмотрел на календарь и наморщил лоб, вспоминая.

Да, в среду и в четверг шел дождь.

Значит, все в порядке?..

Может быть...

А может быть, и нет...

Бойс подошел к окошку и внимательно осмотрел улицу перед домом. Был виден только противоположный тротуар. Но ведь шпики обычно и топчутся на противоположной стороне улицы, чтобы иметь возможность наблюдать за окнами. Это общеизвестно... А могут ли они знать его окно?.. Разумеется, если письмо уже обработано полицией, то они знают этаж, окно, все. Даже в кармане каждого из них лежит его фотографическая карточка...

Бойс усмехнулся: карточка! Во-первых, он на этой карточке еще наверняка с усами. Во-вторых, эти-то карточки и помогают распознать слежку: не полагаясь на память, агенты, впервые отслеживающие свой объект, имеют обыкновение сличать каждого выходящего из подъезда с фотографией. Они воображают, будто продельвают это незаметно. Но их осторожность – это осторожность тюленей. Они легко выдают себя опытному и внимательному глазу... Так, так!.. Давайте же понаблюдаем за улицей, время у нас еще есть!..

Бойс прислонился плечом к косяку окна и принялся изучать каждого, кто, казалось ему, шел медленнее, чем следовало идти занятому человеку. Прохожих было не так много, чтобы агент полиции мог остаться незамеченным в толпе.

Теперь следовало проверить, нет ли наблюдения из-под ворот соседнего дома.

Бойс взял сумку и отправился в булочную на той стороне улицы. Пока шел разговор с булочницей о том о сем, Бойс в окно лавки осмотрел ворота соседних со своим домов. Ничего подозрительного не было видно.

Только после этого он решился отправиться в путь. Все связные были людьми занятыми. Их следовало предупредить, что завтра нужно быть на местах.

Окольным, самым путаным путем, какой только мог выдумать, Бойс пошел в пивнушку, которую функционер-подпольщик содержал по заданию партии как место, удобное для конспиративных свиданий, и как передаточный пункт подпольной связи. После того, дважды пересев с автобуса на метро и обратно, Бойс побывал у Клары-наборщицы, у столяра и у отдохавшего после ночной смены водителя автобуса. Все это были люди, на которых можно было положиться в самом сложном и опасном деле. Оставалось предупредить шофера Франца Лемке – единственного во всей цепи, кто располагал быстрым средством передвижения. Но трудность заключалась в том, что сегодня вовсе не был день натирки полов у фабриканта Винера, где служил Лемке. Появляться там неожиданно без основательного предлога не следовало. Бойс решил позвонить Францу по телефону и условиться о свидании вечером в сосисочной, где можно поговорить, не привлекая ничьего внимания и даже не показывая, что они знакомы.

На каждой остановке автобуса, пересекаясь с одного транспорта на другой, входя в дверь и выходя из нее, Бойс тщательно проверял чистоту своих следов. Снова и снова он убеждался в том, что все благополучно... И все же, только возвратившись домой и еще раз тщательно убедившись в том, что никого не привел за собой, он окончательно успокоился. Остальную часть дня он неумоимо бегал по субботним клиентам. Это был день, когда он натирал полы у мелких чиновников и торговцев – предосторожность, необходимая для того, чтобы не возбуждать разговоров в союзе полотеров. Там было достаточно завистливых глаз, ревниво следивших за клиентурой друг друга. Далеко не все могли похвастаться такими заказчиками, какие были у Бойса. Ему завидовали. Это было неудобством, заставлявшим его всегда быть начеку. Он в шутку говорил самому себе, что его профессия ничуть не легче работы плясуна на проволоке. Разница только та, что для Бойса сорваться – значило упасть не на песок арены, а прямо в объятия гестапо и, вероятнее всего, стать одним из тех, на ком гитлеровский палач пробует остроту своего топора.

Но такие мысли приходили ему только в минуты усталости и раздумий о сложности обстановки, в какой приходилось жить и работать коммунистам в Германии.

Когда на следующий день Бойс увидел лицо отворившего ему дверь Трейчке, полотер сразу понял, что случилось нечто необычайное: голубые глаза адвоката были совсем серыми, серой стала кожа на его щеках, и углы рта были устало опущены. Таким усталым и расстроенным Бойс еще никогда не видел этого человека.

Не задавая вопросов, Бойс вынул из зеленой суконки щетку и принялся натирать пол мастикой.

Трейчке, зябко пряча руки в рукава домашней куртки, уселся на обычном месте – в кресле напротив камина. Но сегодня камин не топился. В нем нечего было сжигать, так как Бойс не принес ни одной папиросной коробки для коллекции адвоката.

К удивлению Бойса, слова о затоптанных полах оказались сущей правдой: словно за эти дни в квартире перебивало много людей из тех, кто не ездит в автомобилях, а шагает по зимней слякоти пешком.

Шаркая взад и вперед ногою, Бойс изредка поглядывал на Трейчке, ожидая, что тот наконец тем или иным способом передаст ему поручение, ради которого вызвал его сюда и мобилизовал подпольную связь. Но Трейчке сидел молча, рассеянно скользя взглядом по комнате, словно не замечая полотера. Прошло много времени, прежде чем он наконец проговорил нарочито громко, так, чтобы каждое слово дошло до отдушины в полу:

– Мне очень жаль, что я не смогу дождаться сегодня конца вашей работы... Придется оставить вторую комнату ненатертой. Но это и не такая уж большая беда: там не натоптано. Мне важно было привести в порядок эту комнату. Я вам очень благодарен. Придется прервать ваше занятие до следующего раза. Больше я не могу оставаться дома. Сейчас я оденусь, и мы вместе выйдем, если вы ничего не имеете против... Я хотел бы угостить вас кружкой пива на вокзале... Можете пока вымыть руки.

Трейчке, по-видимому, был так грустно настроен, что даже не покосился, как обычно, в сторону решетки и не показал ей язык. Хмуро оделся, молча запер за собою дверь и пошел рядом с Бойсом к вокзалу.

На ходу он объяснил суть дела. Стало достоверно известно, что Гейдрих отдал приказ покончить с секретарем и членом Политбюро подпольного ЦК КПГ товарищем Ионом Шером. До низовых инстанций гестапо этот приказ уже дошел в обычной для таких случаев редакции: «убит при попытке к бегству». Нужно было немедленно довести об этом до сведения подпольного ЦК. Быть может, удастся еще спасти Шера, переведенного в Колумбия-хауз и подвергаемого там мучительным пыткам. Может быть, ЦК найдет путь для вмешательства международной общественности, прессы...

Вовсе не в обычае Трейчке было делиться мыслями и переживаниями со связным Бойсом, но сегодня...

– Неужели нам не удастся его спасти? – проговорил он так негромко, что Бойс не сразу даже понял, что слова обращены к нему.

Впрочем, он и не знал, что можно ответить на такой вопрос. Ведь он знал одно: если бы не только спасение, но даже самое освобождение Шера зависело от усердия и смелости связных, он завтра же был бы за пределами Берлина. Но в том-то и дело: связь, даже если в данном случае ее работа будет стоять жизни кому-нибудь из связных подпольщиков, – только половина дела. Может быть, и самая опасная половина, но далеко не самая важная. И уж во всяком случае, самая незаметная. Впрочем, последнее не имеет значения. Если бы можно было таким способом обеспечить свободу Шера, – так, чтобы никто и никогда не узнал о том, кто это сделал, – Бойс без колебаний занял бы его место в камере пыток гестапо. Он ясно отдавал себе отчет в значении для партии такого человека, как секретарь ЦК Шер. Что такое по сравнению с ним простой связной Бойс? Самое маленькое колесико в партийном аппарате! А впрочем, рассуждая таким образом, он, кажется, забывает давнишние уроки старших товарищей. Еще тогда, когда партия только готовилась к уходу в подполье, функционер Франц Лемке говорил ему:

– Ты недооцениваешь значения связи в подпольной работе. Когда нельзя позвонить по телефону, послать письмо, когда ответственные товарищи даже не могут повидаться друг с другом, роль хорошей связи становится огромной. Но мало того, что такая связь должна быть надежна: передать все, что нужно, в срок и без путаницы, подумай еще, какие последствия может иметь болтливость связного, фактически держащего в своих руках жизнь многих работников ЦК и функционеров подполья!

– Это достаточно ясно, – с оттенком обиды ответил тогда Бойс, – каждый партиец, а не только связной должен уметь держать язык за зубами там, где речь идет о делах партии.

Помнится, Лемке тут улыбнулся и тоном, мало соответствовавшим жестокому смыслу его слов, сказал:

– Ты только забыл, что тебя могут вызвать на откровенность, положив на живот доску и колотя по ней гириями или растягивая тебя на «кроватьке системы Кальтенбруннера».

– Я не знаю такой «кроватьки».

– Это очень простое устройство, изобретенное, как можно судить по названию, неким Кальтенбруннером: спинки этого ложа раздвигаются при помощи сильных винтов. Если привязать руки к спинке над головой, а ноги к противоположному концу и начать их растягивать,



то у многих уложенных в такую постель появляется желание рассказать все, чем интересуются гестаповцы.

– Ты нарочно пугаешь меня? – спросил Бойс.

– Нет, я только хочу, чтобы ты отчетливо понимал, что значит быть связным партийного подполья. Человек, будь он десять раз предан, должен трезво взвесить, на что он готов, что может и чего не может. Доска с гириями, под которой у пытаемого из носа и горла хлещет кровь, или кровать Кальтенбруннера – это далеко не самое страшное, что имеется в Колумбия-хауз или подвалах на Принц-Альбрехт<sup>1</sup>.

После этого разговора Бойс провел дурную ночь. Невозможно было заснуть, не решив вопроса: а что, если ему, Бойсу, положить на живот эту самую доску и двое здоровенных молодых начнут молотить по ней гириями?.. Или прижгут ему подошвы... или... или вообще будут по ниточке вытягивать из него жизнь... Скажет он или не скажет?

На другой день он пришел на обычное место в пивную «Старые друзья» и, когда к нему подсел Франц Лемке, сказал:

– Ты говорил, что для успеха работы по связи, на случай, если партии придется уйти в подполье, хорошо бы мне заблаговременно переменить профессию?

– Да... Удобно стать мусорщиком.

– Видишь ли, – смущенно ответил Бойс, – у меня ведь одна рука, – и, будто это требовало доказательств, протянул над столом торчащий из рукава протез.

– Тогда, может быть, полотором...

– Это больше подойдет...

– Значит, ты...

– Да, я все обдумал... Припомнил кое-что из времен войны и пришел к выводу: принято думать о службе в армии, что это совершенно потерянное время, но вместе с тем армия, особенно во время войны, – не такая уж плохая школа. Особенно, ежели тобою командует какая-нибудь сволочь. Если ты это выдержал, не свихнувшись, – значит ты еще можешь быть человеком.

Бойс стал полотором, и вот теперь, когда партии действительно пришлось уйти в подполье, он уже вовсе не чувствует себя новичком, которого нужно чему-то учить и о чем-то спрашивать...

Его мысли прервал Трейчке. Проходя пустынной улицей, он замедлил шаги и пересказал Бойсу суть поручения: устно передать члену ЦК – одному из немногих находящихся на свободе в Германии – о положении Иона Шера. Если в ближайшие дни какая-нибудь авторитетная международная организация – Комитет по борьбе за освобождение Тельмана или Красный Крест – не вмешается, то Шера можно считать обреченным на мучительную смерть. Гитлер хочет запугать коммунистов и всех, кто им сочувствует. Он хочет на Шере прорепетировать то, что собирается сотворить с Тельманом. Сегодня Шер – завтра Тельман. Такова установка гитлеровской шайки.

Ион Шер!.. Да, это имя хорошо знакомо Бойсу. После ареста Тельмана именно Шеру пришлось провести всю тяжелую работу по переводу партии на нелегальное положение. Сколько тайной корреспонденции переправила цепочка связных от Шера к рядовым функционерам партии и обратно!.. Вот уже три месяца, как Ион Шер арестован... Девяносто дней в руках гестаповцев!.. Это и есть то, о чем когда-то говорил Лемке: человек должен заранее знать все, чтобы понять, что он может и чего не может...

– Вы понимаете, Бойс, – глядя в глаза полотору, проговорил Трейчке, когда они расставались, – Шер должен быть спасен. От этого зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь товарища Тельмана. Мы должны выиграть Шера, чтобы не проиграть Тельмана.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Принц-Альбрехтштрассе.

Бойс молча кивнул головой, допил глоток пива, еще оставшийся в кружке, и пошел на платформу. Трейчке сделал вид, будто задержался с расплатой за пиво. Они сели в разные вагоны, хотя обоим нужно было в Берлин.

Обстоятельства складывались неблагоприятно: Лемке не мог принять сегодня участия в передаче, не рискуя вызвать подозрения, так как его хозяин Винер приказал ему весь вечер быть наготове. В цепи связанных образовался прорыв. Сообщение об опасности, угрожающей Шеру, рисковало задержаться на сутки, или Лемке должен был найти какой-нибудь выход из положения. Он пришел к выводу, что должен нарушить правила конспирации: нужно вовлечь в работу нового товарища, выполнявшего до сих пор лишь поручения в строго определенном направлении – на тюрьму Моабит. Лемке решил включить в работу комсомольца Руппа Вирта. У Вирта есть велосипед, и хотя, конечно, медленнее, чем сам Лемке, но юноша сможет доставить сообщение, куда нужно, в ту же ночь. Расчет Лемке строился на том, что ему, как обладающему автомобилем, обычно поручались дальние пригородные участки.

И действительно, когда взволнованная Клара, работавшая на противоположном Бойсу конце цепочки, принесла Францу известие об опасности, угрожающей Иону Шеру, оказалось, что это сообщение следует доставить в Нейкельн на конспиративную квартиру в районе крематория.

Рупп впервые получал столь важное поручение, которое приходилось выполнять одному. С одной стороны, вся его душа исполнилась гордостью и ликованием от сознания огромности доверия, оказываемого ему партией; с другой – волнение вязало его рот какой-то странной оскотиной, от которой зудел даже язык. Такое состояние продолжалось, пока он выслушивал передачу и наставления Лемке. Но от нервного напряжения, казалось, не осталось и следа, как только он опустил на седло велосипеда и ноги коснулись педалей. С этого момента его настолько поглотила мысль, что нужно достичь цели, нигде не задерживаясь, без приключений, не привлекая внимания полиции, что все остальное отошло на задний план.

Член подпольного ЦК, к которому ехал Рупп, скрывался в домике пастора на улице Людвиг Клаппа, неподалеку от кладбища у крематория. Чтобы попасть туда, Руппу предстояло пересечь весь город с северо-запада на юго-восток. Он знал, что он достигнет цели скорее всего, если выедет через центр на Кепеникер и сквозь Трептов парк выберется в район каналов. Однако Лемке запретил ему ехать этим кратчайшим путем и велел пробираться в объезд через Бритц. Совершай Рупп этот путь по загородной дороге, на прогулке, он, вероятно, и не заметил бы, что расстояние так велико. Но тут лавирование по улицам, загроможденным автомобилями, и необходимость то и дело останавливаться на перекрестках утомили его. Добравшись до моста Мольтке, по которому нужно было пересечь канал Тельтов, Рупп почувствовал такую усталость, что, едва переехав мост, должен был остановиться.

Он прислонил велосипед к стене углового дома. Лоб Руппа под шапкой стал мокрым. Однако он не решился снять шапку и вытереть пот. Ему казалось, что стоявший на мосту шупо непременно обратит внимание на его усталость и сразу поймет, что Рупп едет издалека. Это, казалось Руппу, должно заинтересовать полицейского. Тот подойдет и спросит, откуда он едет, куда, почему он так устал, не болен ли он? А Руппу совсем не хотелось вступать в беседу с полицейским. Он мысленно проклинал себя за слабость, за то, что вздумал отдыхать именно здесь, за то, что не проехал еще несколько кварталов...

Однако, к его радости, шупо, по-видимому, нисколько им не интересовался. Во всяком случае, Рупп снова спокойно уселся на велосипед и покатил по Цоссенскому шоссе, чтобы вскоре свернуть в сторону Шпета.

Он изо всей силы нажимал теперь на педали, чтобы оторваться от велосипедиста, который, как показалось Руппу, подозрительно точно следовал по его собственному маршруту. Вместо того чтобы свернуть на Шпет, Рупп полным ходом промчался до Киршштрассе и повер-

нул на Вильгельмплатц. Тут ему совершенно нечего было делать, но желание отделаться от подозрительного спутника, прежде чем он сам повернет к цели... или, по крайней мере, убедиться в том, что тот действительно следует по его пятам, куда бы Рупп ни повернул, гнало его все дальше по запутанным улицам района. Кончилось тем, что, бросаясь из улицы в улицу, он заблудился и должен был дважды объехать Кольцо Ловизы Ройтер, чтобы сообразить, что делать дальше. Он ехал так быстро, что ноги снова начинали ныть. Соображая, как выбраться на Шпет, он выехал на Рудовер и тут, едва повернув налево, увидел велосипедиста, державшего за руль свою машину и о чем-то расспрашивающего полицейского. Прежде чем Рупп успел затормозить и повернуть обратно в проулки, прочь от Рудовер, велосипедист его заметил. Он быстро вскочил на велосипед и, изо всех сил нажимая на педали, бросился следом за Руппом.

## 6

Колумбия-хауз – невеселое место. Хотя здание вовсе не строилось под тюрьму, а имело первоначально назначение казармы, но, видимо, таково уже было дыхание текущей в нем страшной жизни, что при приближении к его серым стенам только эсесовцы и больные садисты не испытывали болезненного сосания под ложечкой от невольно вползающей в сознание мысли: «что было бы со мной, если бы я очутился за этими стенами?» И, чем лучше шли дела у Гитлера, тем больше становилось в Германии немцев, которые думали: «что, если?..»

Это не значило, будто больше становилось немцев, чувствовавших за собой какую-нибудь вину вообще или хотя бы провинившихся перед новым режимом. Нет, просто-напросто каждый честный немец начинал сомневаться в праве читать, что ему хочется, говорить, что думает, поступать так, как требовали правила человеческого общежития; немцы начали даже сомневаться в возможности оставаться честными не только в отношении друзей и знакомых, а и по отношению к самим себе. Донести на соседа стало обычным делом, а мысль «не донес ли сосед на меня самого?» стала такой же ежевечерней, как прежде молитва. Пропагандистской машине доктора Геббельса оставалось убедить немцев в том, что их святая обязанность перед фюрером – доносить гестапо на самих себя.

При таких условиях жизни в Германии Колумбия-хауз не пустовал. Туда привозили из других тюрем узников, подлежащих допросу «третьей степени», и таких, от которых отказались уже палачи подвалов на Принц-Альбрехтштрассе. Из Колумбия-хауз редко кому доводилось вернуться к месту постоянного жительства – в тюрьму Старый Моабит, или Новый Моабит, или какое-нибудь другое узилище. Чаще всего оттуда вывозили трупы замученных борцов против фашизма. Вывозили их тайно, по ночам, в закрытых фургонах, чтобы не возбуждать толков среди корреспондентов иностранных газет. На самих немцев уже перестали обращать внимание – их не стеснялись. Стремясь уберечься от постороннего глаза, палачам приходилось принимать специальные меры к тому, чтобы из-за толстых стен Колумбии не доносились стоны и крики пытаемых. Допросы производились в подвалах, не имевших доступа свежего воздуха; в часы наиболее оживленного движения на улицах допросы прерывались; придумывались такие методы принуждения допрашиваемых, когда они могли издавать наименьшее количество стонов и криков. Все это доставляло хлопоты персоналу гестапо и администрации Колумбии. Но были и в этих учреждениях субъекты деликатные, нервы которых не выдерживали вида пыток и крика пытаемых.

К числу таких принадлежал штурмбаннфюрер Вильгельм Кроне. Ему не часто приходилось бывать в Колумбии, но, если он, выполняя какое-нибудь специальное задание своих шефов – Гиммлера или Геринга, – попадал туда, то редко спускался в подвалы. Он проходил в одну из тихих комнат заднего корпуса тюрьмы и оттуда, брезгливо кривя губы при слишком натуралистических подробностях в отчетах следователей, следил за ходом допроса внизу.

Так было и на этот раз, когда Кроне приехал в Колумбию, чтобы «закончить возню» с Ионом Шером. Кроне начал с доклада врача, обследовавшего Шера. Не зная Кроне, врач терялся: невозможно было понять, что означает это молчаливое покачивание головы – одобрение экзекуторам или порицание?

Заключение врача было таково:

– Дальнейшее воздействие на нижние конечности едва ли возможно: от лодыжек до бедер они уже утратили поверхностную чувствительность. То же частично относится к суставам: ступни вывихнуты, – тут врач применил специальную терминологию, ничего не говорившую Кроне; подумав, прибавил: – возможно еще, конечно, механическое воздействие на костяк...

Кроне поднял на врача непонимающий взгляд. Тот поспешно пояснил:

– Я имею в виду переломы. Это практиковалось здесь в некоторых случаях. Но при том состоянии, в каком находится допрашиваемый, мне кажется, и это не может произвести нужного действия, так как он может окончательно выйти из строя.

Кроне, не сводя глаз с лица врача, спросил:

– Значит, по-вашему, он еще не вышел из строя?.. Это хорошо. – И вдруг ошеломил врача вопросом: – А вы никогда не испытывали боли от ломающихся костей? Я имею в виду не случайность, скажем там падение, а если вам одну за другой нарочно ломают кости?..

– Нет... не приходилось... – растерянно ответил врач.

Кроне разочарованно покивал головой, будто ожидал иного ответа, и сквозь зубы процедил:

– Так, так... Того нельзя, другого не стоит... А что же еще стоит сделать, чтобы заставить его говорить?

– У него в прекрасном состоянии спина! – с неподдельной радостью, блестя глазами, воскликнул врач. – По существу говоря, прижимание его спиной к печке имело, так сказать, косметический результат. – Тут он рассмеялся: – Опалены волосы на спине – вот и все.

– Значит?..

– О, это совершенно безопасно для его общего состояния: воздействие на область спины еще возможно. – И поспешил прибавить: – Конечно, без грубого нарушения внутренних органов. Печень и почки у него уже отбиты, так же как легкие. Дальнейшая работа в этом направлении привела бы к преждевременной смерти...

– А как, по-вашему, сколько он еще протянет? – перебил врача Кроне.

– Один или два вопроса, – спокойно констатировал врач.

– А при содействии медицины? – насмешливо спросил Кроне.

– Тут многого не сделаешь, – доктор разочарованно пожал плечами. – Можно заставить биться сердце, но нельзя вынудить человека испытывать боль, если ее слишком много.

– Вот! – проговорил Кроне вставая. – В этом-то направлении вам и следовало бы работать. Диссертация на такую тему... Понимаете?..

Он отпустил врача и несколько раз прошелся по комнате, чтобы немного размять затекшие ноги.

## 7

Некоторое время Рупп ехал, заставляя себя смотреть вперед. Он тешил себя мыслью, что если не будет оглядываться хотя бы вон до того поворота, то преследователь исчезнет.

Стиснув зубы от начинавшего овладевать им непосильного напряжения, Рупп доехал до поворота. Но тут уж он должен был оглянуться. От того, следят ли еще за ним, зависело и выполнение поручения партии.

Рупп оглянулся.

Велосипедист ехал за ним.

На этот раз вполне отчетливая мысль, которую уже не стоило скрывать от самого себя, пронзила сознание Руппа: провал! С таким сопровождением нечего было и думать ехать по данному ему адресу.

Значит, сообщение о Шере останется непередавленным, значит, товарищ Ион Шер...

Рупп почувствовал, что его спина стала мокрой от пота. Он подумал, что это результат утомления, не поняв того, что это была реакция на нервный шок от страшного открытия: да, это провал!

Рупп растерялся. Он понял, что не может теперь ни вернуться домой, ни поехать к Лемке. Были закрыты все пути.

А велосипедист следовал за ним: не приближался, но и не отставал.

Так они выехали на Шоссейную улицу. У Руппа появилась мысль бросить велосипед и, вскочив в первый попавшийся автобус, дать тягу. Но он тут же сообразил, что по номеру, болтающемуся под седлом машины, тотчас же найдут хозяина и...

Снова стало жарко спине от мысли, что последует за этим «и»...

Теперь Рупп думал только о том, нельзя ли как-нибудь на ходу незаметно для преследователя оторвать номерной знак? Тогда он сбавит ход, подъедет к любой закусочной рядом со станцией кольцевой железной дороги и, оставив велосипед у двери, больше никогда не попадется на глаза преследователю...

План показался ему отличным, и он стал на ходу ощупывать номер. Жестянка сидела крепко. Напрасно Рупп пытался ее оторвать, согнуть, отвернуть болты. Голые пальцы были плохим инструментом...

Нужно было решать, куда он повернет: направо, к станции Нойкельн, или налево, к станции Германнштрассе.

Он еще раз оглянулся: преследователь был там...

Время близилось уже к рассвету, когда Кроне, спавший в Колумбия-хауз на неудобном клеенчатом диване, был разбужен следователем, допрашивавшим Иона Шера. Кроне с неудовольствием выслушал сообщение о том, что трое коммунистов, которых пытали в присутствии Шера, чтобы заставить его говорить, умерли. Сам Шер был еще жив, но жизнь едва теплилась в его истерзанном теле.

– Значит, безнадежно? – с унынием спросил Кроне. Следователь, ничего не ответив, махнул рукой. «Ну что ж... – подумал Кроне. – Можно кончать». Следователь вопросительно посмотрел на Кроне. Тот недовольно пояснил свою мысль:

– Попытка к бегству, а?..

«Убежать! Убежать во что бы то ни стало!» Эта мысль была так настойчива и огромна, что, казалось, она заполнила весь череп Руппа.

А номер все не поддавался. Тогда Рупп, не обращая больше внимания на преследователя, остановился. Слез с велосипеда и тот, другой. Он даже прислонил свою машину к стене и

закурил. Рупп понял, что тот тоже устал и не так-то легко ему будет угнаться за Руппом, если Рупп сумеет собрать все силы.

Юноша достал из сумочки ключ и отвинтил гайку, удерживавшую номер. Подошел к перилам моста и, сделав вид, будто уронил платок, нагнулся и бросил жестянку с номером сквозь перила.

Теперь он мог, по крайней мере, бросить велосипед без страха, что разыщут его самого. Значит, он смог вернуться к Лемке и сказать... Сказать... что?..

У него не хватило решимости даже мысленно произнести страшные слова: «Задание не выполнено».

За этими словами стоял образ товарища Шера...

Рупп стиснул зубы и вскочил на седло. Встречный ветер размазывал по лицу обильно текущие слезы. Руппу было стыдно, но он не мог их сдержать. Щеки его были совсем мокрыми, но ему не приходило в голову вытереть их.

Поперек трех трупов, принадлежавших активистам-подпольщикам компартии: Эриху Штейнфурту, Эугену Шенхаару и Рудольфу Шварцу, в кузов фургона бросили еще дышавшего Иона Шера. Он был перевит веревками, словно и едва живой был страшен своим палачам.

Через тридцать пять минут фургон остановился в лесу. Три трупа были выброшены. Следом за ними выбросили и Шера. Три выстрела в затылок мертвецам и один выстрел, последний, в затылок живому Шеру глухо прозвучали в предрассветной мгле пустынного леса.

Клара положила Руппу руку на голову. Это была шершавая рука наборщицы, с ногтями, под которыми чернела несмываемая свинцовая пыль. Руппу она показалась очень горячей, необыкновенно сильной. Такой сильной, что из нее на него самого истекала уверенность: он не виноват в случившемся.

Он перестал плакать. Слезы медленно обсыхали у него на щеках и на подбородке.

– Завтра, – сказала Клара, – ты снесешь донесение к Эйхгорну.

Рупп молча кивнул головой. Он знал, что будет в папиросной коробке, которую он должен положить под бюст Эйхгорна: сообщение Тельману. В сообщении будут, может быть, только три слова, но какие это слова: «Они убили Шера».

Рупп поднял глаза на Клару. Ему хотелось прочесть в ее лице тоже всего три слова: «Ты не виноват». От этих слов для него зависело так много... Очень много.

## 8

К концу июля в Берлине стало нечем дышать.

Когда в кабинете никого не было, Гаусс расстегивал воротник и закладывал под него носовой платок. Его жилистая, как у старого петуха, шея непрерывно покрывалась потом. Это было отвратительное ощущение.

Бутылка минеральной воды, опущенная в лед, оставалась почти нетронутой. Врачи запретили Гауссу употреблять больше шести стаканов жидкости в день. Он проклинал часы, когда приходилось задерживаться в центре. Нацисты совершенно одурели от подозрительности. Они никому не верили. Как будто, кроме них, никто не понимал, что нужно и что можно делать!

Гаусс опасался не проникновения в армию гестаповских молодчиков, – Гиммлер, конечно, уже имеет уши в каждой роте. Как и весь генералитет, Гаусс боялся не этих соглядатаев, а захвата нацистами командных постов. Генералам пока удавалось отстаивать тезис внеполитичности армии. Под этой внеполитичностью они подразумевали свое исключительное право распоряжаться рейхсвером как орудием политики, – своей, генеральской политики. Поскольку все на этом свете относительно, Гаусс считал, что солдат, продающий свой тесак, – ландскнехт; офицер, продающий шпагу, – субъект, недостойный того, чтобы ему подавали руку; но генерал, продающий солдатский тесак вместе с солдатом и офицерскую шпагу вместе с самим офицером, – политик. Политик может быть хорошим и плохим. Шлейхер, например, при всем его уме и хитрости стоил в политике немногого. Кто только придумал ему эту кличку: «генерал-политик»? Гаусс убежден, что в конце концов политика Шлейхера привела бы генералов к потере армии: либо она стала бы послушным орудием Рема, либо попала бы в объятия коммунистов. Можно ли сохранить свой курс между этими двумя водоворотами, не попав ни в один из них? Гаусс полагал, что можно. До тех пор пока Гитлер существует и является реальной силой, нужно использовать его зоологическую ненависть к коммунистам.

Гаусс машинально потянулся к бутылке, но вовремя удержался. Не наливая воды, он только провел пальцами по запотевшему холодному стеклу.

Он встал и прошелся, обмахиваясь папкой. Он никак не мог заставить свою мысль работать в направлении предстоящего разговора со Шверером. Этот проклятый Шверер, – из-за жары у Гаусса все и вся были «проклятыми», – капризничает. Но на этот раз ему не отвертеться: подписанный высшим командованием приказ – на столе Гаусса.

– Генерал-лейтенант фон Шверер, – доложил по телефону дежурный адъютант.

Гаусс застегнул воротник, отошел к столу и оперся о него концами пальцев.

Шверер вбежал, быстро и твердо постукивая каблуками.

Приказ был для него неожиданностью. Правда, он сам говорил, что непрочь еще разок побывать в России и на Дальнем Востоке, но это говорилось больше для того, чтобы окружающие не забыли, что он уже там бывал и знает те страны.

Итак, ему предстояло либо ехать в Китай, либо согласиться с тем, что двери рейхсвера закроются для него навсегда. Значит, нужно было сделать вид, будто предложение совпадает с его желанием.

– Я был прав, полагая, что такого рода поездка вас заинтересует? – спросил Гаусс.

– Я предпочел бы быть не наблюдателем, а советником китайцев.

– Немецкий генерал в роли советника китайцев, мешающих нашим восточным друзьям – японцам? Это неудобно. В данной международной ситуации мы не можем повторить опыт Секта.

У Шверера быстро сложился план действий.



– Немецкий военный агент на правах официального дружественного наблюдателя поедет не в китайскую, а в японскую армию, действующую в Китае. Ему придется небольшой штаб из наиболее способных офицеров действительной службы...

– Но мы предполагали дать практику именно отставным офицерам, желающим повысить свои оперативные знания, – возразил Гаусс.

– Позвольте мне закончить мысль, – с подчеркнутой кротостью проговорил Шверер, – офицеры действительной службы должны быть посланы потому, что им труднее предоставить такого рода практику. Они не могут ехать на службу ни в Аргентину, ни в Колумбию, ни в Сиам, как это делают отставные. А в армию дружественной Японии никто не запретит нам послать официальную миссию. Что же касается слушателей моих вечерних курсов и меня самого, то, – Шверер снял очки и кольнул воздух, как клювом, своим острым носом, – мы можем отправиться в Китай не только в качестве наблюдателей.

– Что вы хотите сказать? – заинтересовался Гаусс.

– Если китайское правительство предложит мне образовать небольшую миссию из штатских господ, знающих, что такое война, я завтра же сформирую такую группу. Разумеется, в совершенно частном порядке.

– Цель, цель? – нетерпеливо спросил Гаусс.

– Группы немецких офицеров смогут провести маневры большого масштаба, причем игра будет вестись не холостыми патронами, а со всеми реальными последствиями ошибок и побед.

– Но вы должны иметь в виду: китаец *c'est une mauvaise chenille: quand on l'attaque, elle se defend*<sup>2</sup>. – Гаусс рассмеялся и потер влажный от пота висок. – Никак не пойму, в какие отношения мы тут становимся с японцами? Они довольно быстро раскроют ваше присутствие в рядах китайцев.

– От них ничего и не нужно скрывать!

– То есть как же? – удивился Гаусс.

– Мы даже получим согласия японцев на работу в рядах их противника. Вы забыли: китайское правительство воюет не столько с японцами, сколько с армиями коммунистических провинций.

– А, вы хотите убить сразу двух зайцев! – Гаусс встал из-за стола и, обойдя его, протянул Швереру руку. – Кажется, я плохо знал вас! – торжественно произнес он. – Теперь я скажу вам, не скрывая: пусть японцы бьют Китай, а Чан Кайши бьет коммунистов.

– Позволю себе напомнить слова Клаузевица: «Великая цивилизованная нация может быть побеждена только при отсутствии единства внутри нее».

– Вы считаете китайцев цивилизованной нацией?! – с удивлением воскликнул Гаусс.

– Боюсь, что порох выдумали все-таки они, а не наш соотечественник Шварц, – с первой за весь вечер улыбкой проговорил Шверер.

– Поручим Александру принять участие в этом деле. А там, где появляется полковник, исчезает единство противника. – Гаусс опустился в кресло по ту же сторону стола, где сидел Шверер, и, понизив голос, продолжал: – В отношении разведки нам следует учиться у наци.

– Разве можно сравнить практику нашего Александра с опытом этих новичков?

– По-видимому, тут дело не только в практике. Догмат блицкрига вошел им в плоть и кровь. А блицкриг, по их мнению, выигрывается или проигрывается прежде, чем раздался первый выстрел. Первый блицкриг они выиграли здесь, в Германии. Они завоевали нашу страну. Вот пример того, как они умеют работать. Однажды в разговоре о судьбах Австрии господин Гесс обмолвился: «Всякий, кто вздумает нам сопротивляться, испытает на себе судьбу Дольфуса, австрийского канцлера». – «Но ведь Дольфус жив и здоров», – сказал я. «Если через

---

<sup>2</sup> Китаец – пресердитое создание: когда на него нападают, он защищается.

месяц он не подпишет манифест об аншлюссе, то будет мертв», – заявил Гесс. «Вы дали ему месяц?» – «Да, ровно месяц. Позвоните мне в полночь на двадцать пятое июля». Должен сознаться, что я счел это шуткой, но, чтобы иметь возможность ответить такую же шуткой, я ночью двадцать пятого позвонил Гессу.

– И что же? – Шверер в нетерпении подался всем телом вперед.

– Мне даже не пришлось напоминать, о чем идет речь. Он очень весело сказал: «Вы сомневались? Дольфус отверг аншлюс, значит...»

– И что же? – повторил Шверер.

– Вы же знаете: Дольфус умер в тот день в своем дворце.

– Очень интересно, это чрезвычайно интересно, – проговорил Шверер. – Означает ли это, что мы в скором времени можем войти в Австрию? Если поход предполагается в недалеком будущем, то я предпочел бы отложить поездку в Китай. Только через Австрию и Чехию мы откроем путь южной клешне. Так же как через Польшу и Прибалтику – северной. Этими клешнями я раздавлю большевистский орешек.

– Австрия от вас не уйдет, – сказал Гаусс. – Пока вы выберете себе сигару, я прикажу принести кое-что, что вас заинтересует! – и он отошел к телефонам.

Шверера чрезвычайно занимала перемена, которую он обнаружил сегодня в отношении к себе Гаусса. Прежде этот человек никогда не был с ним не только откровенен, но даже приветлив. Гаусс не скрывал, что не одобряет оперативных воззрений Шверера и не смотрит серьезно на разрабатываемый тем план восточной кампании. Откуда же подул этот новый ветер?..

Гаусс вернулся к Швереру.

– Быть может, чего-нибудь холодного?

– Благодарю, мне не жарко, – ответил Шверер.

Его маленькое жилистое тело было совершенно сухо, несмотря на плотно облегавший его китель.

Отто ввел офицера контрразведки. Тот подал затребованную Гауссом папку, которую абвер не мог доверить даже адъютанту Гаусса.

Когда офицеры вышли, Гаусс быстро перелистал несколько страниц.

– Александер проверяет все, что можно... Сейчас нас особенно интересует все относящееся к европейской политической ситуации, поскольку от нее зависит осуществление наших собственных планов. Мы твердо решили вернуть исходные линии на Рейне и Висле. Однако я отвлекся... Я дам вам просмотреть стенограмму разговора Кестнера, нашего посла в Париже, с одной французской журналисткой – весьма осведомленной и ловкой особой. Беседа происходила вскоре после убийства румынского премьера Дука. Он был убит румынами, но европейское общественное мнение приписывало организацию этого убийства немцам. И мне кажется, не без оснований... – Гаусс улыбнулся. – Французская журналистка Женестье Табуи посетила нашего посла в Париже с целью выудить у него что-нибудь полезное для себя. Вот фонограмма разговора, о которой не знают сами собеседники. – Гаусс протянул Швереру папку прошитого и запломбированного досье. Шверер прочел:

«Кестнер: – Еще несколько таких убийств, как это, и Германия будет в состоянии достичь своих целей, не прибегая к войне в Европе.

Табуи: – Мне кажется, что убийство не было новшеством и в Веймарской республике.

Кестнер: – Да, но наци ожидают нужных им результатов от убийств, которые они организуют в других странах Европы, а не в нашей собственной. Они утверждают, что Германия обойдется без войны с помощью шести рассчитанных убийств.

Табуи: – Шесть убийств?

Кестнер: – Прежде всего Дольфус. После него идет король Югославии. Берлин верит, что когда его уберут с дороги, перспективы альянса между Югославией и Францией будут сведены на нет. Затем они хотят разделаться с Румынией, и особенно с Титулеску.

Табуи: – Думаете ли вы, что они имеют какое-либо отношение к недавнему убийству Дука?

Кестнер: – Твердо я этого не знаю... Затем они хотят ликвидировать Бенеша. Они надеются, что как только это будет сделано, германские меньшинства в Чехословакии сами побегут в объятия Германии.

Табуи: – Так... Но это только четыре убийства.

Кестнер: Имеется еще король Альберт – традиционный враг в глазах большинства немцев. На Вильгельмштрассе думают, что, пока Альберт жив, Бельгия не войдет в германскую систему.

Табуи: – Должны же быть и такие французские деятели, которых Вильгельмштрассе хотела бы видеть убранными с дороги.

Кестнер (смеется): – Да, есть несколько. Среди них Эррио. Они хотели бы, чтобы с ним что-нибудь случилось. Этого человека они боятся, несмотря на то что он дал им равенство в правах».

– И это говорит наш дипломат! – воскликнул Шверер.

Гаусс разочарованно посмотрел на него.

– Вы не увидели тут самого важного: Европа знает все. И молчит. Она предоставляет нам свободу действий. Вот что в этом наиболее замечательно!

– Я еще недостаточно в курсе такого рода дел. – Шверер снова надел очки. – Я видел тут имя короля Александра...

– Да, по нашим данным, он готов соскользнуть на опасный путь сближения с Францией. На этом пути у него имеются чересчур услужливые гиды.

– Это очень, очень интересно, – задумчиво проговорил Шверер: – Балканы!

## 9

Тот, кто переехал бы Эльбу с запада на восток, чтобы попасть в марку Бранденбург, или въехал бы в Мекленбург с северо-запада через границу Шлезвиг-Гольштейна, едва ли заметил бы в первый момент, что попал в совершенно другую страну – Остэльбию.

Впрочем, такой страны и нет ни на картах, ни в учебниках географии, но ее хорошо знают немцы, соприкасающиеся с кругами офицерства. Они знают, что под Остэльбией подразумевается обширное пространство, в которое входят Мекленбург, Померания, Восточная Пруссия и Силезия и из которого происходит девяносто девять процентов немецкого офицерства. Даже если офицер родился в Ганновере или Дрездене, все равно он смотрит на это, как на несчастную случайность, и считает себя уроженцем прусско-юнкерской страны Остэльбии.

Переезжая границу Остэльбии, путник не заметит перемен в природе. Те же едва заметные холмы, покрытые такими же лесами, как в восточном Бранденбурге; те же равнины, что в южном Шлезвиге; те же озера и болота. Все такое же – и в то же время совсем иное. Поля волнуются огромными массивами посевов, в лесах разгуливают олени и лоси, слышен звук рога помещичьей охоты. На зеркальной глади озер плавают лебеди, и сами эти озера – украшение вековых парков, окружающих усадьбы прусских и померанских юнкеров. Три пятых земли Остэльбии – четырнадцать миллионов акров – поделены на куски от десяти до полутора тысяч акров и являются собственностью Бисмарков, Арнимов, Веделей, Бюловых и еще трех-четырех десятков семейств, из века в век поставляющих Германии генералов и министров.

По своей природе восточнопрусское юнкерство резко отличается и всегда отличалось от рейнско-швабско-франконского дворянства, базой которого являлось рентное землевладение. А что касается мекленбургских герцогств, то вплоть до 1918 года они представляли собою, по существу говоря, нечто вроде высокоаристократических республик. Нигде больше в Германии нет поместий таких размеров, как в Остэльбии. Нигде больше в Германии нет землевладельцев, которым принадлежало бы такое количество поместий, как в Остэльбии. К концу прошлого века количество поместий наиболее старых и прочных прусских фамилий исчислялось десятками. Клейсты имели 53 имения, Ведели – 44, Винтерфельды – 20 и так далее.

Из этого, однако, не следует, что Остэльбия – страна исключительно крупнопоместного дворянства. Наряду с Клейстами и Веделями там сидели на земле такие юнкерские семьи, как фон дер Гольцы, Мольтке, Секты, которые высоко держали голову на людях, но, входя в собственный «шлосс», наклоняли ее довольно низко, чтобы не стукнуться о притолоку.

Это может показаться удивительным, но именно из этих-то мелкопоместных, обнищавших восточно-прусских семей вышли наиболее известные военные последнего столетия. Клаузевиц, Мольтке, Вальдерзее, фон дер Гольц, Сект были выходцами из-под соломенных крыш обветшавших «шлоссов». Объяснение этому можно найти в том, что именно им не оставалось иного жизненного пути, как воспитание в кадетском корпусе, куда не надо было платить; в военной школе, где их одевали и кормили впроголодь, чтобы приучить к воздержанию и сохранить приличную прусскому офицеру сухую фигуру; в военной академии, где не только одевали и кормили, но еще и платили жалованье за умение выказать преданность монарху и военному ремеслу.

К началу XIX века прусская аристократия составляла значительно больше половины офицерского корпуса армии и продолжала настойчиво отгораживаться от представителей буржуазных слоев. В Баварии это плохо удавалось – там разночинцы продолжали не только удерживаться в рядах армии, но и давали наиболее мыслящий слой офицерства. А в самой Пруссии понятия реакционер и офицер стали синонимами. Вступая на военную службу, прусский юнкер даже не присягал ни своему народу, ни государству – он приносил присягу королю. Он и считал, что служит только королю и обязан выполнять только его приказы.

Выучка и традиции грабить слабейшего, – хотя бы соседа, – порождали приверженность к военному делу как к единственному достойному прусского дворянина. Отсутствие надежных источников дохода при огромных аппетитах и при еще более огромной спеси рождало в представителях этой группы военно-прусской касты повышенную агрессивность. В среде немецко-прусских милитаристов зарождалась и развивалась борьба между представителями придворной военной клики, пополняемой за счет наиболее знатных владетельных родов юнкерства, и выходцами из мелкопоместного дворянства, добивающегося возможности командовать армией. Обе группы представляли в основном остэльбское юнкерство, но каждая из них оспаривала у другой верховенство в армии даже тогда, когда уже не земельная знать, а финансовые короли и магнаты промышленности стали хозяевами страны и поставили себе на службу всю военщину в целом.

В этих десятках помещичьих «замков», как в неких инкубаторах, высиживались и оттуда выпускались в свет молодые пруссаки, выпестованные по образцу, еще три века назад разработанному «великим курфюрстом» Фридрихом-Вильгельмом Бранденбургским и доведенному до высшей степени палочно-прусского совершенства «великим» же «капралом» Фридрихом II.

Остэльбия имела в своем формуляре таких поставщиков офицерства для прусской и позже для германской армии, как Шулленбурги, давшие на протяжении двух веков 3 генерал-фельдмаршалов, 1 генерал-фельдцейхмейстера и 25 генералов. Прочим отпрыскам фамилии Шулленбург в чинах от лейтенанта до полковника несть числа. Клейсты дали 15 генералов, фон дер Гольцы – 11, Манштейны и Арнимы – по 7, Вицлебены – 5. Командные высоты в армии были буквально заполнены этими семьями. Бывали периоды, когда в армии одновременно числилось, скажем, 34 Веделя или 43 Клейста.

Никто в Пруссии не возражал вслух, когда Мирабо сказал, что «Пруссия – не государство, обладающее армией, а армия, завоевавшая государство»; и военный историк Георг фон Беренгорст имел полное право заявить, что прусская монархия – вовсе не страна, обладающая армией, а армия, обладающая страной, в которой она как бы только расквартирована. Но главное было все же не в этом, а в том, что Остэльбия была страной жестокой эксплуатации крестьян и крупными и мелкими юнкерами.

Монархию Гогенцоллернов нельзя себе представить без прусских офицеров и без прусских помещиков. Это были ее основные киты. Прусская армия росла, как злокачественная опухоль, на теле плохо развивающегося прусского государства. «Великий курфюрст» оставил после своей смерти армию в 30 тысяч человек, Фридрих-Вильгельм I передал наследнику армию в 80 тысяч, Фридрих Великий, умирая, оставил в качестве лучшей памяти о себе 200 тысяч солдат. Это было дурным подарком, так как армия тех времен никак не могла считаться частью народа. Фридрих Второй всегда считал, что его солдат должен бояться собственного офицера больше, чем врага. А что касается самих офицеров, то о них он говаривал: «Моим офицерам незачем думать. За них думаю я. Если они начнут думать сами, то ни один из них не останется в армии».

На пространстве между Рейном и Одером правители Пруско-Германии вколачивали в головы немцев, что Германия – пуп Земли; Остэльбия – пуп Германии; юнкерское поместье – пуп Остэльбии.

Не всякий восточно-прусский «шлосс» крыт соломой. Есть в Остэльбии и огромные поместья с богатыми усадьбами. А где-то между соломенной крышей Сектов и золотым шпилем на замке Арнимов находятся десятки поместий средней руки. «Замок» в таком поместье – унылое двухэтажное строение с фасадом в пятнадцать-двадцать окон. Длинные коридоры, огромные комнаты, не прогревающиеся зимою. Люстры под потолками зажигаются редко. Их хрустальные подвески не звенят и не играют гранями, так как никогда не дрожат стены замка: по утрамбованному гравию двора не ездят ни подводы, ни грузовые автомобили.

Сквозь окна, завешанные шторами, проникает немного света – от яркого солнца выцветают обои и выгорает обивка мебели!

На стенах комнат – канделябры и портреты. Все мужчины на портретах – в военном: от старинных камзолов до красных воротников генерального штаба и от серебряных лат до «фельдграу».

У населения Остэльбии свои сословия: «лакированный сапог», «хромовый сапог» и «смазной сапог». Лакированный и хромовый называют смазной на «ты». Смазной ломает шапку перед хромовым и целует в плечо лакированный. Так было в 1734-м и 1834-м. Так осталось и в 1934 году.

Замки Померании отличаются от замков Силезии только капителями колонн на фронтонах. Внутри – все одинаково. Поместья Восточной Пруссии отличаются от поместий Мекленбурга только фамилиями владельцев на межевых столбах. Мекленбург и Восточная Пруссия, Померания и Силезия – все это лишь провинции векового заповедника Остэльбии, где выводится особая порода немцев, получившая широко известное название прусского юнкера.

Ничем не отличается от других поместий и Нейдек – владение Гинденбургов. Если бы не ловкость старого юнкера Ольденбург-Янушау, соседа и друга Гинденбургов, сумевшего подбить рейнских промышленников на то, чтобы выкупить заложенный Нейдек и поднести его ко дню восьмидесятилетия фельдмаршалу-президенту, тому не пришлось бы доживать свои дни в родовом гнезде.

В обставленном с нарочитой скромностью доме Нейдека царила тишина. По навощенным полам комнат старика были протянуты дорожки, скрадывающие шаги. Люди говорили шепотом. На эту половину уже не допускали никого, кроме членов семьи умирающего президента: его сына, полковника Оскара Гинденбурга, и невестки, жены Оскара. Изредка, и то не иначе, как на самое короткое время, решался приходить доктор Мейснер, статс-секретарь, сумевший стать столь же необходимым президенту – монархисту и помещику, как был необходим предыдущему президенту – социал-демократу Эберту. Кое-что говорило о том, что и со смертью Гинденбурга правитель президентской канцелярии не намерен уходить на покой для писания мемуаров. Если бы полковник Александер захотел, он смог бы принести президенту неопровержимые доказательства того, что господин Мейснер уже довольно прочно связан с национал-социалистским рейхсканцлером Гитлером. Но докладывать об этом полумертвому старику, по-видимому, не входило в интересы всеведущего полковника. Гинденбург пребывал в состоянии эгоистической старицовой уверенности в том, что в числе безутешно оплакивающих его уход в лучший мир будет и верный доктор Мейснер.

Гинденбург лежал в кабинете. С походной кровати был виден старый парк Нейдека. Фельдмаршал велел повысить подложить себе за спину подушки, он почти сидел и, часто мигая от света, глядел на пылающие ярким золотом осени деревья. Старый вестовой, – он с девятнадцатого года был в отставке и служил у Гинденбурга в качестве камердинера по вольному найму, – был, как всегда, облачен в солдатский мундир из серого походного сукна.

Заметив, что у Гинденбурга от яркого света слезятся глаза, вестовой подошел к окну и потянул было за шнурок шторы. Но фельдмаршал едва заметным движением руки остановил его.

Солдат укоризненно покачал головой, словно перед ним был капризный ребенок, и послушно вернулся к столу. Он ходил на цыпочках, несмотря на то что на нем были войлочные туфли. Приходилось быть осторожным, чтобы не выдать себя дежурившим в соседней комнате врачу и сестре. Пусть они остаются в уверенности, что Гинденбург спит. Все равно толку от них уже не может быть никакого. Старик и сам сказал вчера, что ему «пора».

Вестовой искоса поглаживал на желтое лицо президента с тщательно подбритыми, как всегда, подусниками, на его беспомощно вытянутые поверх одеяла руки. Глаза, и прежде-то

не отличавшиеся блеском, совсем погасли. Грудь тяжело, с хрипом и бульканьем, выбрасывала воздух.

Сегодня был первый день, что фельдмаршал позволил не надевать на него форменную тужурку. Он лежал в белой рубашке, укрытый пледом, похожим на солдатское одеяло. Он долго лежал молча. Потом движением век подозвал вестового и хриплым шепотом приказал:

– Окна... настезь...

– Врач не велел, хохэкселенц!

Брови старика насупились было, но он только умоляюще поглядел на вестового.

Солдат на цыпочках подошел к двери, прислушался и, убедившись в том, что в приемной тихо, распахнул одно из окон, подержал его отворенным несколько минут и снова осторожно затворил. Когда он оглянулся на больного, уверенный, что увидит его повеселевшие глаза, голова фельдмаршала свисала с подушки, закрытые почти черными веками глазные яблоки казались непомерно большими.

Испуганный вестовой подбежал к постели и поправил Гинденбургу голову.

На шум его торопливых шагов вошли врач и сиделка.

Строгий взгляд врача.

Рука на пульсе старика.

Сестра со шприцем.

Ясно слышен в мертвой тишине хруст отломанного кончика ампулы.

Несколько мгновений солдат с укором смотрел, как человеку мешают умирать. Потом, стараясь не шуметь, он вышел: не ему было вмешиваться, – тут, видно, происходили дела государственной важности. Да, жизнь президента – чертовски ценная штука, даже тогда, когда от него нет уже никакого прока.

Укол оказал обычное действие. Сознание вернулось к Гинденбургу.

– Мейснера, – отчетливо приказал он.

При входе статс-секретаря все, кроме Оскара, удалились. Мейснер приблизился к больному. Старик прохрипел ему в ухо:

– Завещание...

Мейснер отомкнул стальной шкаф в углу кабинета, достал большой полотняный конверт.

Президент следил за движениями Мейснера, словно перед ним был цирковой фокусник и старик боялся, что конверт вдруг исчезнет из его пальцев.

Мейснер повернул конверт большой сургучною печатью вверх и вопросительно взглянул на Гинденбурга.

– Угодно прочесть? – спросил он.

– Переписать!... – с усилием выдохнул старик.

Мейснер нерешительно взглянул на Оскара. Оскар взял конверт, сломал печать, вынул завещание и поднес бумагу к глазам отца.

– Не нужно... читать... – досадуя, что его не понимают, проговорил Гинденбург.

– Вы хотите что-нибудь изменить? – спросил Оскар.

– О президенте...

Оскар отыскал нужное место на второй странице и прочел строки, где Гинденбург советовал немецкому народу избрать в президенты генерала Гренера.

Мейснер стоял в ногах кровати, обеими руками держа пустой голубой конверт.

– Перепиши, как есть, – сказал Гинденбург сыну. – Где сказано о Гренере... оставь место... Я назову... имя...

Оскар перешел к письменному столу и принялся поспешно переписывать бумагу, словно боялся, что отец умрет, прежде чем будет закончено дело.

Тем временем Мейснер позвал врача. Тот снова принялся считать пульс больного.

Когда Оскар поднялся из-за стола, Мейснер сказал врачу, капавшему из пипетки лекарство в рюмку:

– Идите.

– Но... – врач поднял руку с пипеткой.

– Давайте – и уходите.

Врач влил капли в рот старика и поспешно вышел. Гинденбург довольно громко сказал:

– Мейснер...

– Да, хохэкселенц?..

– Уйдите.

У президента от него секреты!.. Мейснер сделал попытку задержаться, но Гинденбург повторил:

– Оставьте нас...

Отказываясь верить своим ушам, Мейснер растерянно потоптался на месте и более поспешно, чем обычно, подгоняемый нетерпеливым взглядом старика, вышел из комнаты.

Оскар держал наготове перо. Старик поднял на сына глаза.

– Пиши: Франц фон... Папен.

– Отец!

– Франц фон Папен! – сердито, одним духом повторил Гинденбург и приподнял руку, силясь взять перо. Лист с подложенным под него бюваром лежал поверх одеяла. Умиравший долго собирался с силами. Его лоб покрылся каплями пота, потом старик ткнул пером в бумагу, поставил большую кляксу и, не сумев вывести подпись, выронил перо.

Оскар расписался за отца, копируя его подпись со старого завещания. Озираясь, словно боясь, что кто-нибудь его удержит, вложил завещание в новый конверт и заклеил его.

Он подошел к постели, чтобы снять с пальца отца перстень с печаткой. Перстень свободно болтался на пальце, и Оскар потянул золотой обруч, но распухший сустав не давал его снять.

По-видимому, Оскар причинил отцу боль. Гинденбург открыл один глаз и уставился на сына.

– Нужна печать, – виновато сказал Оскар.

Торопливо, капая на сукно стола, он разогрел сургуч и, намазав на конверт, подбежал к постели. Обернул руку старика тыльной стороной и прижал перстень к сургучу. Красные сургучные капли, опалив волосы на пальце, пристали к коже умирающего.

Оскар позвал врача и Мейснера.

– Фельдмаршал просит засвидетельствовать, что документ написан по его желанию и подписан им собственноручно.

Мейснер не мог прийти в себя: имя преемника Гинденбурга было скрыто от него!..

– Государственный акт, не скрепленный статс-секретарем, – сказал он, – не имеет формального значения.

Гинденбург снова с видимым усилием приподнял одно веко и из-под него посмотрел на Мейснера. Едва ли умирающий понимал, кто перед ним. Он беззвучно пошевелил губами и как-то странно, показалось Мейснеру, подмигнул ему.

Мейснер взял перо и вывел на конверте свою подпись без росчерков и украшений. Рядом с маленькой фамильной печатью Гинденбурга он поставил большую президентскую печать. Увидев, что Мейснер направился к сейфу, Гинденбург издал испуганный стон. Оскар нагнулся.

«Под... подушку», – разобрал он шепот президента.

Через час расшифрованная депеша Мейснера, уведомляющая обо всем, что только что произошло в Нейдеке, и предупреждающая, что президент проживет не больше нескольких часов, лежала перед Герингом. Он тотчас же поехал к Гитлеру. А еще через час экстренный поезд, гудя дизелями, мчался из Берлина на восток.



В салон-вагоне сидели Гитлер, Геринг и Гесс. В соседнем вагоне разместился штаб. В остальных трех – эсесовцы. Тут была не только охрана Гитлера. Значительное число эсесовцев было предназначено для того, чтобы немедленно по прибытии на место оцепить Нейдек и надежно отгородить его от внешнего мира. Порядок оцепления был разработан по плану поместья. Ни одно живое существо не должно было проникнуть сквозь оцепление – ни в ту, ни в другую сторону.

Гесса занимал вопрос – лежит ли еще завещание под подушкой старика, или он нашел ему более надежное место.

Мысли Гитлера были сосредоточены на том, чье имя Гинденбург мог вписать вместо Гренера. С Гренером все было уже улажено: отказ генерала принять пост президента лежал в кармане Гитлера. Правда, история умалчивает о том, каким путем этот отказ был получен, но в тот момент, когда Гитлер окажется единственным хозяином в стране, такие праздные вопросы едва ли будут кем-нибудь задаваться...

Если бы знать имя человека, которого старик рекомендует в свои преемники! Гитлер перебирал в уме все возможные кандидатуры, и мысль его все чаще возвращалась к Герингу. Толстый Герман был единственным из всего руководства нацистской партии, кого Гинденбург пускал к себе в дом. Что, если именно это имя названо в завещании? С Германом будет не так просто сговориться.

Возможность такой ситуации пугала Гитлера. Он исподлбья взглядывал на Геринга и думал о мерах, которые пришлось бы в таком случае немедля принять. Внезапная смерть Геринга от разрыва сердца или в результате автомобильной катастрофы представлялась Гитлеру единственным выходом в том случае, если Гинденбург оказал толстяку медвежью услугу, вставив его имя в завещание.

Геринг тоже сидел задумавшись. Сообщение Мейснера о том, что Гинденбург заменил в завещании имя Гренера другим, пробудило в нем надежду на то, что наиболее вероятным кандидатом в президенты в нынешней ситуации является он, Герман Геринг. Для этого было достаточно много данных. Руководящие банковские и промышленные круги ему вполне доверяют; для генералитета тоже он не такой чужак, как припадочный ефрейтор. Он нашел бы средства в открытую потягаться с выкормленным им змеенышем – Гитлером! Он поставил бы его на место и заставил плясать под свою дудку. А нет, так... страна узнала бы о смерти Гитлера от разрыва сердца или в автомобильной катастрофе...

В ночь с первого на второе августа 1934 года вереница автомобилей въехала в главную аллею Нейдека и разбудила сиянием своих фар парк и темный замок умирающего президента.

Уединившись с Оскаром, Гитлер дал ему понять: Нейдек отрезан от внешнего мира и хозяином тут является он, рейхсканцлер и фюрер.

– Где завещание? – спросил он.

– Вам лучше говорить со статс-секретарем, – уклончиво ответил полковник.

– Принесите мне завещание, – сказал Гитлер, и его колючие глаза устремились в лицо Оскара.

Но тот решительно заявил:

– Фельдмаршал не желает, чтобы документ попал в чьи бы то ни было руки до его смерти.

Гитлер несколько раз пробежался по комнате и, резко остановившись, почти умоляюще спросил:

– Чье имя вы вписали вместо Гренера?

Оскар Гинденбург, профессиональный военный с ограниченным кругозором и способностями, не мог учесть всех политических комбинаций, на которые повлияло бы преждевременное оглашение имени того, кого отец считал способным повести немцев в один из труднейших периодов их истории. Полковник думал, что это имя, произнесенное устами умирающего Гин-

денбурга, станет для немцев таким же популярным, каким казалось ему имя его отца. Оскар не подозревал, что даже под гнетом нацистского режима в Германии уцелели еще миллионы людей, для которых имя Гинденбурга-президента было символом реакции, синонимом сдачи всех позиций демократии клике юнкеров и банкиров, означало возвращение к власти монархических элементов старой армии и кайзеровского правительственного аппарата. Любое имя, какое способен был воскресить в своей памяти умирающий, будь то Гренер или Папен, было одинаково чуждо немецкому народу и не могло вызвать в массах ничего, кроме возмущения. Но вместе с тем полковник Оскар знал, что отец не выносил Гитлера только потому, что тот был выскочкой, представителем «черни», втершимся в ряды «порядочных» людей, а вовсе не потому, что Гитлер был тем, чем он был в политике. Когда дело доходило до политики, Гинденбург всегда сдавал позиции нацистам и допускал Гитлера все ближе и ближе к власти. Стрик не раз говаривал, что не видит в Германии другой силы, способной противостоять коммунизму, как только гитлеризм. Способен ли Папен противостоять главной, самой страшной опасности? Не было ли то, что сделал вчера отец, политической ошибкой?..

Оскар взглянул на Гитлера. Неужели отец должен был вставить в документ имя этого человека с измятой физиономией эстрадного пошляка?!

Гитлер, по-видимому, понял, о чем думал Оскар.

– Чье бы имя ни стояло в завещании, – проговорил он, – главою государства буду я. Другое имя послужит только причиной больших осложнений внутри Германии. Неужели вы этого не понимаете?! – Гитлер понизил голос до хриплого шепота, так что его слова едва можно было разобрать. – Что бы он ни написал, там должно стоять мое имя!.. Мое!

Полковник молчал ошеломленный. Прежде чем он успел освоить смысл сказанного, Гитлер продолжал:

– Период Гинденбурга закончен. Тот, кто ставит на него, ставит на мертвеца. А я... – лицо его побагровело, – я могу завтра же, сегодня же, не выходя отсюда, сделать вас генералом или... или уничтожить!

Оскар передернул плечами и отвернулся. Гитлер продолжал выкрикивать:

– Вы военный! Вместе с армией вы будете двигаться вперед! Нас с вами будет связывать знание взятой на себя великой ответственности!

Да, это Оскар, понимал. От него зависело принять предложение этого крикуна, возродить армию, переиграть проигранную войну.

– Фельдмаршал-президент назвал в завещании... Папена, – негромко произнес Оскар.

Ни тени удивления не отразилось на лице Гитлера. Он стал сразу необычайно спокоен и высокомерно произнес:

– В своем дневнике вы можете сегодня записать: судьба Германии решалась в этой комнате... Теперь – к президенту!

Оскар направился было к двери, но Гитлер без церемонии взял его за рукав:

– Оставьте нас.

– Но...

– Не будьте мальчиком... генерал!

И Гитлер вошел в кабинет.

Гинденбург лежал с закрытыми глазами.

У ног умирающего, уронив голову на руки, сидела его невестка. Увидев ее, Гитлер бросил взгляд в сторону стоявшего в дверях Оскара. Тот послушно взял жену под руку и почти насильно увел из комнаты.

Дверь кабинета плотно затворилась.

Некоторое время Гитлер молча оставался в том самом кресле, в котором только что сидела невестка умирающего. Глаза Гинденбурга были закрыты. Гитлер осторожно придвинулся к изголовью и сунул руку под подушку. Он сразу нащупал большой конверт и потянул

его. Конверт с подписями свидетелей был у него в руках. В первый момент Гитлер хотел его вскрыть, но удержался. Зачем? Он и так знает главное.

Гитлер сложил конверт вдвое и сунул во внутренний карман.

Хруст ломающихся печатей показался ему таким громким, что он испуганно взглянул на Гинденбурга. Один глаз старика был широко раскрыт, в нем отражался смертельный испуг. Над другим глазом только бессильно вздрагивало веко.

Гитлер отвернулся. Теперь ему некуда было спешить. Ведь сидеть здесь придется до того момента, пока старик будет способен произнести хотя бы слово. Ни секундой раньше не сможет Гитлер выйти из этой комнаты. Ни секундой раньше он не позволит никому сюда войти.

Гинденбург издал мычание в последнем усилии заговорить, замотал головой. Гитлер равнодушно смотрел на него: пусть помычит... Если кто-нибудь подслушает у дверей, то примет это мычание за речь старика.

При этой мысли Гитлер заговорил сам. Он говорил громко. Если где-нибудь здесь спрячаны записывающие аппараты, Гиммлер получит полное удовольствие: он услышит самые почувствованные слова, какие когда-либо произносил он, Гитлер.

Он говорил механически, почти не думая. Мысли вертелись вокруг того, что следует теперь делать с Папеном, с завещанием, с Оскаром Гинденбургом. Как поступит Оскар, обнаружив исчезновение завещания? Поймет ли он, что не в его интересах поднимать шум?

Гитлер умолк... Его так поглотили мысли, что он не обращал уже внимания на президента.

Завещание должно быть переписано рукой Оскара! И пусть не кто иной, как сам же он – Оскар, «найдет» новое завещание и передаст его Папену. Именно Папену – никому другому. Что может быть убедительнее: сам Папен огласит в рейхстаге завещание с именем Гитлера в качестве преемника Гинденбурга. Да, именно Папен!

Что же, значит Геринг не зря сохранил жизнь этому католическому пройдохе!

Идея понравилась Гитлеру.

Он весело глянул на Гинденбурга.

Президент был недвижим.

Правая рука беспомощно свисала к полу, рот был полуоткрыт. Один глаз оставался открытым.

Гитлер вскочил, нагнулся к самому лицу Гинденбурга. Дыхания не было слышно.

Все!

Гитлер еще раз ощупал свой грудной карман, где хрустнул толстый конверт, и направился к двери.

Дверь в приемную порывисто распахнулась, и все увидели Гитлера. Взгляд его был устремлен вверх. Левой рукой он поддерживал правую, протянутую вперед.

Голосом, в котором звучало рыдание, он с пафосом провинциального трагика произнес: – Сейчас он пожал эту руку.

## 10

Острая боль заставила Тельмана скрипнуть зубами и сжать их так, что под скулами набухли желваки. Работа по расслоению папиросной коробки требовала точных движений. Их приходилось делать, не считаясь с болью, причиняемой наручниками.

Нужно было собрать всю силу воли, чтобы заставить себя после короткого отдыха снова приняться за дело. Тельман вынул из тайника тонкую, отточенную, как игла, косточку и, повернувшись спиной к двери, оперся лбом о стену. Это был испытанный прием маскировки, после которого, как узнал Тельман, в рапортниках надзирателя появлялась фраза: «Снова стоял, упершись лбом в стену, и грыз пальцы». Он мог себе представить, как следователи радостно потирали руки, воображая, будто эта поза – не что иное, как выражение отчаяния. А тем временем он, подняв руки к самому лицу, наносил на картон едва заметные уколы шифра. Нужно было передать товарищам на волю, как следует, по его мнению, держаться в предстоящем народном голосовании. Нельзя отдать Гитлеру без боя позиции, на которых еще недавно стояло несколько миллионов немцев. Партия должна сказать им, как вести себя, как голосовать. Но вот косточка замерла, и брови Тельмана озабоченно сошлись над переносицей. Нет никакого сомнения: социал-демократические бонзы еще раз, как и многократно до того, предадут интересы рабочего класса и германского народа в целом; необходимо считаться с тем, что снова изменят эти продажные душонки, трясущиеся за свои жалкие шкуры и за тепленькие местечки, которые, как кость шелудивому псу, бросил им Гитлер! Наверное, так оно и будет. Весь ход истории рабочего движения в Германии убеждает в том, что он, Тельман, не имеет права делать никакой ставки на единство действий с этими потомственными и последовательными ренегатами. Еще давиды, брауны и прочая шваль доказали на практике, что готовы не за страх, а за совесть служить ненавистным народу Гогенцоллернам, обманывая массы рядовых членов своей партии. Лебе, вельсы, зеверинги передали шумахерам политическую нечистоплотность, полученную от Каутского. Тельман не поверит никаким их уверениям! Эберту и этой кровавой собаке Носке ничего не стоило, спевшись с юнкерами и банкирами, утопить в крови немецкую революцию. По указке тренеров и шлейхеров, рехбергов и стиннесов и прямых агентов Ватикана – брюнингов и папенов – проклятым бонзам удалось превратить чиновничью верхушку немецкой социал-демократии в отряд негодяев, ставших под знамя реакции для борьбы с германской демократией и с Советским Союзом. Нужно быть последним идиотом, чтобы поверить, будто они раскаются в том, что способствовали приходу Гитлера, и будут голосовать против него. Да, Тельман может с уверенностью сказать, что если бы Папена сменил в канцлерском кресле не Гитлер, а кто-нибудь из социал-демократических лидеров, он, Тельман, потребуй этого хозяева Рура, оказался бы там же, где сидит и теперь, – в тюрьме! Те, кто организовал убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, не задумываясь, покончили бы и с ним. Как ни скудны сведения, приходящие к Тельману в тюрьму, как ни трудно ему отсюда сноситься с партийным подпольем, он должен дать товарищам сигнал: социал-демократические лидеры по-прежнему остаются врагами рабочего класса; поверить им – для коммуниста значит поставить под удар судьбу партии, которая должна вывести немецкий народ на путь революционных побед. Должна вывести и выведет!

Погибли прекрасные товарищи, погиб Ион Шер, но партия жива. Место погибших борцов заняли другие. Партия жива!

Тельман верит в правильность политики своей партии, своего ЦК!.. Правильная политика! Политика сплочения всех антифашистов, политика единения с социал-демократическими рабочими и беспощадного разоблачения их продажных лидеров.

Тельман стал рассчитывать: до голосования осталось две недели, – успеет ли это письмо дойти до товарищей на воле?.. Чтобы заполнить знаками маленький кусочек картона, понадо-

бится не меньше двух дней, – работать нужно урывками, чтобы не привлечь внимания надзирателей. Сутки уйдут на то, чтобы склеить коробку и дать ей засохнуть. Она должна иметь такой же вид, как сотни коробок из других камер.

В среду кальфактор принесет новые папиросы – десять штук на неделю – и под наблюдением надзирателя соберет у заключенных старые коробки, чтобы ни один клочок бумаги не оставался в камерах. С этого начнется опасное путешествие письма: кальфактор должен сжечь отобранные коробки. Не попадет ли в печь и коробка Тельмана? Что, если раздатчику не удастся отделить ее от общей массы и, вместо того чтобы по каким-то таинственным каналам, о которых не знал и сам Тельман, попасть в руки товарищей, кусочек картона улетит на волю в виде струйки дыма?.. А если письмо и прорвется, сколько времени оно будет странствовать? Какими путями пойдет? Кто те товарищи, которые, получив коробку, будут старательно разбирать шифр? Тельман не знал их имен. По двум-трем случайным словам он мог только догадываться, что это был кто-то из особенно близких ему гамбургцев. Гамбургцы! Он хорошо знал этот народ. Они продержатся до конца, пока будет хоть какая-нибудь надежда. И даже тогда, когда ее уже не станет. Во всяком случае, они не сдадутся, и ни один из них не перебежит в ряды врага. Он знал их, немецких пролетариев.

И снова острая косточка совершала свои осторожные движения, и сетка едва заметных уколов покрывала поверхность картона...

Губы Тельмана беззвучно шевелились: мысленно он произносил целые речи. В них было все, что искало выхода за стены тюрьмы: и страстный призыв к борьбе, и слова надежды, и клятва верности своей партии, своему классу, делу своего страдающего народа...

## 11

Гаусса заинтересовало то, что говорил Оскар Гинденбург, но вначале он колебался; стоит ли вступать в такое скользкое дело, как предстоящая борьба вокруг завещания фельдмаршала? С одной стороны, тут, может быть, и есть шанс не допустить слишком большой концентрации власти в руках Гитлера, но с другой... Что если разоблачение истории с завещанием президента осложнит положение в стране и помешает начавшемуся разворачиванию армии? С этим нельзя было шутить. Но в то же время...

Гауссу хотелось подумать над этим сложным делом, а вслух он со всею мягкостью, на какую был способен, сказал:

– Я никогда не смел считать себя в числе лиц, пользовавшихся особым доверием покойного фельдмаршала. Удобно ли мне...

Но Оскар не дал ему договорить. Он замахал руками и поспешно проговорил:

– Вы не просто его сослуживец, я бы сказал: любимый сослуживец...

– Подчиненный, – поправил Гаусс, – это будет точнее...

– Хорошо, пусть будет «подчиненный». Вы его любимый подчиненный. Но не потому я пришел к вам. Ведь вы наш сосед по имению, наши семьи давно близки. Наконец вы забыли: родство по женской линии дает мне право смотреть на вас, как на своего человека...

Слова сына покойного президента ложились в сознание Гаусса где-то поверх его собственной мысли. Слушая Оскара, он думал о том, что прежде, когда был жив старый фельдмаршал, его сыну не приходило в голову напоминать об их соседстве, о родстве и прочих сантиментах! Гаусс попросту не помнит даже, когда он в последний раз говорил с молодым Гинденбургом...

Гаусс всегда знал его за более чем посредственного офицера, за человека, ничего не смыслящего в политике. Бог его знает, почему тот решил вспомнить теперь именно о нем?..

А Оскар между тем продолжал:

– С кем же я могу посоветоваться, как не с вами? Что мне делать с этим удивительным секретом, так неожиданно попавшим в мои руки?

– А вы абсолютно уверены в том, что конверт с завещанием взял именно он?

Гаусс не решился произнести имя Гитлера.

– Готов поклясться.

– И вы достаточно хорошо помните текст завещания, чтобы суметь воспроизвести его?

– Вполне...

Неожиданная мысль пришла Гауссу. Подумав, он сказал:

– Так сядьте здесь и напишите его так, как помните.

Оскар послушно сел за письменный стол и принялся писать. Но вдруг остановился, отложил перо и вопросительно посмотрел на Гаусса.

– А что мы с этим сделаем? – спросил он.

Генерал пожал плечами.

– Обстоятельства покажут.

Отодвинув наполовину исписанный лист, Оскар поднялся из-за стола и несколько раз в задумчивости прошелся по комнате. Гаусс молча курил, движением одних глаз следя за гостем. Теперь, когда Оскар колебался, Гауссу казалось, что тайну можно было хорошо использовать. Быть может, удалось бы напугать Гитлера и сделать его более послушным генералам. Ведь он зазнался после 30 июня.

Да, положительно, теперь этот недописанный Оскаром листок представлялся Гауссу ключом к запертой для него двери в политику...

– Итак! – неопределенно проговорил он.

Оскар остановился напротив него и молча, в задумчивости смотрел ему в лицо, словно надеясь найти в чертах старика решение мучивших его сомнений: писать или не писать?

– Итак?.. – повторил Гаусс.

– Что это может дать? – спросил Оскар.

– Все! – с неожиданной для самого себя решительностью отрезал вдруг Гаусс. – Этим мы можем заставить его отказаться от вмешательства в дела армии, мы можем сохранить свое положение, мы можем...

Гаусс, не договорив, сделал размахистое движение рукой, означавшее широту раскрывающихся горизонтов.

– Оставив его у власти? – в сомнении спросил Оскар.

– Пусть будет фюрером и пока еще рейхсканцлером, а там...

– Но ведь он хочет совсем не того. Я понял: он хочет стать президентом. А я видел его глаза, я говорил с ним, я понимаю, что значит оказаться во власти этого человека... – Оскар прикрыл ладонью глаза, силясь представить себе того, кто заставил его уйти от смертного одра отца, бросить на произвол судьбы завещание президента, отдать столь важный документ в грязные руки ефрейтора-шпики. И, по-видимому, этот образ представился ему достаточно ясно.

Оскар зажмурился и провел ладонью по лицу, силясь отогнать отвратительное видение коротконого человека с широким задом, тяжелыми, как у гориллы, руками, со взглядом маньяка...

– Быть может, этого не следует делать? – спросил Оскар с нерешительностью.

– Разве не это привело вас сюда?! – сердито спросил Гаусс. – Разве вы не хотели знать мое мнение!... Как офицер, как немец, как сын своего отца вы не имеете права не сказать того, что знаете о проделке «богемского ефрейтора»... Ведь так и только так ваш покойный отец называл этого выскочку. И вспомните еще: «этот богемский ефрейтор никогда не будет моим канцлером»...

– Тем не менее... – грустно покачивая головой, проговорил Оскар.

– Тем не менее он стал канцлером?.. И теперь он станет еще президентом и усядется в кресло, где сидел покойный фельдмаршал!

Оскар стоял в нерешительности. Теперь его охватил страх, и он пробовал возражать, доказывать, что, может быть, Гитлер ничего плохого и не сделает с завещанием. Что, может быть, он просто опубликует его, отступив перед волей покойного президента. Ведь говорят же, будто он уже просил Папена выступить в рейхстаге, чтобы огласить завещание...

– Но откуда вы знаете, что это будет за завещание? – гневно крикнул Гаусс.

– Вы думаете, он может решиться... что-нибудь изменить в документе?

– «Что-нибудь изменить!» – передразнил Гаусс. – Он просто перепишет завещание, как ему захочется.

– Там стоит имя Папена!

– А будет стоять его имя... «Богемский ефрейтор» – президент Германии?.. – Гаусс ударил рукой по подлокотнику. Но ладонь только глубоко ушла в мягкую кожу, не издав даже сколько-нибудь громкого звука.

– Но там стоит подпись отца.

– Вы же сказали, что эту подпись должны были сделать вы, вы сами... Так что же удивительного в том, что вы сделаете ее еще раз, когда он потребует?

– Господин генерал! – Оскар выпрямился и выставил грудь, как должен был сделать германский офицер, если его оскорбляли.

– Сейчас не до обид, – резко оборвал его Гаусс. – Если вы поклянетесь мне, что не пойдете на это... Впрочем, нет, даже в таком случае я вам не поверю...

– Господин генерал!.. Это слишком!

Но Гаусс, не обращая на него внимания, продолжал:

– Только в том случае, если у меня будет храниться текст завещания, изложенный вашей рукой и скрепленный вашей подписью, я буду почти уверен в том, что вы не пойдете на то, чего потребует Гитлер. И то вы видите, я говорю «почти»... На свете больше нет никаких гарантий ни от каких подлецов.

– Ваши годы и положение, господин генерал, – сухо проговорил Оскар, – избавляют вас от необходимости выслушать то, что на моем месте должен был бы сказать офицер. – Оскар вставил в глазницу монокль и, гордо подняв голову, зашагал к двери. Но, сделав несколько шагов, он вернулся к столу и с изумлением уставился на то место, где оставил недописанный текст завещания. Он даже пошарил по столу рукой, словно не верил собственным глазам: лист исчез.

Оскар вопросительно посмотрел на сидевшего сбоку стола Гаусса. Тот сидел, сцепив сухие пальцы у подбородка, и смотрел куда-то в пространство.

Оскар хорошо помнил, что он перестал писать в тот момент, когда из-под его пера вышло имя Папена как преемника умершего президента. Да, он это хорошо помнил...

– Господин генерал...

Гаусс продолжал сидеть неподвижно и смотреть так, будто перед ним никого не было.

– Это... это... – запинаясь, бормотал Оскар, не находя нужного слова.

За него продолжил сам Гаусс:

– Это ничуть не хуже того, что вы уже сделали и что еще сделаете.

Гаусс поднялся с кресла коротким, быстрым движением. Оскар так же быстро вышел.



## 12

Цихауэр держал руку Асты в своей, внимательно разглядывая ее. Потом опустил руку на черный бархат платья, отошел на шаг и, склонив голову набок, еще раз полюбовался. Узкая белая кисть с едва заметной просинью жилок, с тонкими длинными пальцами лежала на бархате, как драгоценное произведение ваятеля.

– Завтра сядем за работу, – сказал Цихауэр.

Аста подняла свою руку и с усмешкой посмотрела на нее.

– Это не очень любезно в отношении дамы: не найти в ней ничего лучше рук. А теперь, – она встала с софы, на которой полулежала, – покажи, что ты сделал для отца.

– Мы с ним не сговорились...

Цихауэр взял стоявший у стены большой картон и повернул его лицом к Асте. Аста отшатнулась. То, что она увидела, было ужасно. Написанное художником лицо человека было олицетворением себялюбия, алчности, самодовольства, трусости. В лице не было портретного сходства с ее отцом, и вместе с тем нельзя было ошибиться: это был Вольфганг Винер.

– Завтра я снесу это в магазин, – сказал Цихауэр. – Тот, кто хоть что-нибудь понимает в искусстве, немедленно купит портрет...

– Ты не сделаешь этого!

– Тогда пусть он купит его сам. Тысяча марок – и ни пфеннига меньше! Я не желаю умирать с голоду.

– Я поговорю с ним... – Аста взглянула на часы. – Тебе никуда не нужно ехать?

– А что?

– Здесь Лемке с автомобилем.

– Спасибо... Мне никуда не нужно.

– Ты даже не уговариваешь меня посидеть... – грустно проговорила она.

Он смущенно взглянул на часы.

– Мне еще очень много нужно сегодня сделать!

Она порывисто поднялась и с обиженным видом протянула художнику руку.

Высунувшись из окна, Цихауэр видел, как ее автомобиль завернул за угол, и снова с беспокойством взглянул на часы. Завтра, 19 августа, – всегерманский плебисцит. Немцы должны будут сказать, хотят ли они иметь Гитлера преемником Гинденбурга. Весь Берлин, вся Германия были заклеены нацистскими плакатами, призывавшими отдать голос Гитлеру. Никаких других плакатов не было. Но это не значило, что в Германии не осталось людей, которые хотели бы голосовать против Гитлера. Для миллионов людей, голосовавших за коммунистическую партию, она оставалась символом борьбы с гитлеровским террором. Загнанные в подполье коммунисты решили показать немецкому народу, что есть силы, способные к сопротивлению. В течение ночи часть нацистских плакатов должна быть заклеена плакатами коммунистов, а на остальных слова «да здравствует Гитлер» заменены словами «долой Гитлера».

Цихауэру поручили изготовить бумажные полоски со словом «долой». С левой стороны на них вместо фашистской свастики был нарисован кулак «Красного фронта».

Шофер Франц Лемке должен был действовать в паре с Цихауэром. Он обещал привести еще одного парня – сторожить, пока Лемке и Цихауэр будут наклеивать полоски. Им достался трудный район – в самом центре города.

С улицы, как из колодца, поднимался глухой шум. Весь день 18 августа по улицам Берлина маршировали отряды штурмовиков с оркестрами, флагами и плакатами, требующими, чтобы берлинцы голосовали за «фюрера». Вот и сейчас топот подкованных сапог вместе с духовой врывался в растворенное окно мансарды Цихауэра.

После «большой чистки» 30 июня, в которой было истреблено все прежнее руководство СА, штурмовикам разрешили вернуться из вынужденного отпуска, и они с удвоенным рвением принялись за свою погромную деятельность. Далеко не последняя роль принадлежала им в подготовке предстоящих «выборов».

Прошло не меньше получаса, прежде чем явился Лемке. Уже совсем стемнело.

– А я – с автомобилем, – весело сказал он. – Это ускорит дело.

– А ваш парень?

– Разрешите ему войти? – Лемке отворил дверь и крикнул: – Входи, Рупп!

Наличие в экспедиции автомобиля меняло план действий. Было решено: Лемке останется за рулем, чтобы быть готовым в любую минуту тронуться с места, Рупп будет мазать плакаты клейстером, а Цихауэр заклеивать их своими полосками.

– Дай-ка сюда газеты, – сказал Лемке Руппу и спросил, обернувшись к Цихауэру: – Вы еще ничего не знаете?

Цихауэр с улыбкой спросил:

– Свергли Гитлера?

– Он опубликовал завещание Гинденбурга. Покойник назначил его чем-то вроде своего наследника.

Лемке протянул художнику газету.

Цихауэр прочитал:

«Вице-канцлер в отставке господин фон Папен, по поручению генерала Оскара фон Гинденбурга, передал фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру пакет, содержащий политическое завещание покойного господина рейхспрезидента генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга. По поручению фюрера господин фон Папен предаст документ гласности.

На собственноручно запечатанном рейхспрезидентом конверте сделана надпись: «Германскому народу и его канцлеру. Мое завещание».

Цихауэр поднял на Лемке смеющиеся глаза:

– Хотел бы я знать, почему же Гитлер тянул с опубликованием завещания целых две недели?

– Говорят, завещание не могли найти, – сказал Рупп.

– Да, его «случайно» нашел полковник, сын президента, – сказал Лемке. – И все это публикуется накануне выборов. Ловкий ход!

– Но как же с подписью покойного президента?

Лемке рассмеялся:

– Не думаю, чтобы это было большим затруднением. Говорят, что последнее время все бумаги фабриковал за отца полковник Оскар.

– Вы допускаете?..

– У них – все.

В уголке на электрической плитке Рупп сварил клейстер.

– Пора, – сказал Лемке.

Ему предоставили выбор маршрута. Полагаясь на свое искусство шофера, он избрал наиболее запутанную часть центра. Он считал, что в случае провала погоня скорее бы настигла его на прямых, широких магистралях, а в узких пересекающихся улицах едва ли кто-нибудь угонится за ним.

Миновав Тиргартен, он выехал на Лейпцигерштрассе и в конце ее свернул на Коммандантенштрассе. Район был едва ли не самым опасным. Тут то и дело проходили группы штурмовиков и полицейские патрули. Но тем более необходимо было выполнить задание и показать этим самодовольным прохвостам, что есть еще смелые и честные люди в Германии!

Лемке сделал первую остановку. Рупп выскочил и на бегу мазнул клеем сразу по двум плакатам. Цихауэр ловко приклеил свои полоски.

Лемке останавливался то на одном, то на другом углу... Осмелев, они решили испытать новую тактику. Рупп и Цихауэр шли по улице, автомобиль медленно ехал в нескольких шагах от них.

Все шло отлично. В карманах Цихауэра оставалось уже совсем мало бумажных полосок, когда Рупп увидел на углу двух полицейских. Он и Цихауэр побежали к автомобилю. Но вдруг Цихауэр вскрикнул: у него подвернулась нога, и он упал.

Рупп бросился к нему.

От перекрестка бежала группа штурмовиков. Лемке понял, что прежде чем Цихауэр и Рупп успеют сесть в автомобиль, их настигнет погоня. Он дал задний ход, чтобы сократить расстояние. Рупп толкнул Цихауэра в машину и вскочил сам. Лемке видел, как наперерез штурмовикам бежало несколько рабочих-пикетчиков.

Через минуту автомобиль мчался полным ходом. А свалка, начавшаяся в узкой, кривой Себастьяненштрассе, привлекала все новых и новых участников. Хотя этот район и не был рабочим и здесь не могло быть большого числа прохожих, способных оказать штурмовикам сопротивление, победа последним далась нелегко. В штурмовиков летели камни, палки, пустые бутылки...

С воем сирены в улицу въехал полицейский автомобиль. Вместе с шупо в драку вмешались эсесовцы. Эти не привыкли стесняться! Замелькали дубинки.

## 13

Американское «просперити» 1920-х годов имело своеобразные последствия для ряда родовых поместий аристократов Старого Света. Их старинные замки были разобраны по камешку, упакованы со всем, что в них было, – от гобеленов до привидений, – и перевезены за океан, в резиденции американских миллионеров.

Не все замки совершили такое далекое путешествие. Некоторые из них были перенесены лишь на сотню-другую километров, в более живописные места. Были, наконец, и такие, которые остались на месте в увеличенных в пять, в десять раз поместьях.

Подобного рода судьбы постигли старинные родовые гнезда аристократии во многих странах Западной Европы: в Германии, Франции, Австрии и даже в Англии и Шотландии.

Один из таких замков был перенесен волею нового владельца с берегов сурового шотландского «лоха» на не менее поэтический, но мало подходящий для его суровых форм солнечный островок посреди прозрачно-голубого озера в Итальянских Альпах.

Это было огромное строение, служившее когда-то прибежищем нескольким поколениям клана хайлендеров и славившееся тем, что едва ли не каждое из этих поколений оставило в нем свое привидение. Многие тысячи долларов были затрачены на то, чтобы засадить пространство вокруг замка вереском и скромным шотландским дроком. Вероятно, новый владелец не пожалел бы денег и на то, чтобы заставить переселиться вместе с замком стаи шотландских ворон, свивших себе гнезда между зубцами его башен. Но вороны не поняли того, что являются неотъемлемой деталью пейзажа, и остались в родной Шотландии. В Швейцарии их места на башнях заняли мириады ласточек.

Большую часть времени замок пустовал. В его роскошно отделанных залах и комнатах царил тишина. Солнце едва пробивалось сквозь замазанные мелом стекла высоких стрельчатых окон. Далеко не каждый год появлялся тут кто-нибудь из членов семьи владельца. Полторы сотни слуг были единственным населением замка и всего островка, приобретенного да так, по видимому, и забытого мистером Джоном Алленом Ванденгеймом Третьим.

Он вспомнил о своем замке лишь тогда, когда понадобилось найти нейтральную почву для важного разговора, который должен был состояться между несколькими американскими дельцами-монополистами и представителями германского капитала и нацистской партии. Одни из них не желали появляться в Германии, других неудобно было приглашать в Штаты. Кроме того, ни в Германии, ни в Штатах не удалось бы уберечься от пронирыливых газетчиков. А обеим сторонам меньше всего хотелось, чтобы кто-либо совал нос в их дела.

Вот почему в августе 1934 года с окон замка смыли наконец мел, и солнцу удалось заглянуть в его пышные покои.

Американцы прибыли с юга, через Италию, и сели на яхту Ванденгейма в Комо. Немцы прибыли с севера и отплыли на остров от пристани Менаджио.

Все было организовано так, что история до сих пор не знает имен всех «туристов», якобы собравшихся поиграть в гольф и покер на уединенном швейцарском островке. Известно только, что в числе немецких гостей, кроме неперенных членов таких совещаний Яльмара Шахта и банкира Курта Шрейбера, находились Фриц Тиссен, Крупп фон Болен, Шмитц и Бош и что, кроме ранее совещавшихся с Ванденгеймом в Америке немецких генеральных консулов фон Типпельскирха и фон Киллингера, приехал Геринг. Это те, чьи имена, несмотря на конспирацию, не остались неузнанными. Имена остальных до сих пор неизвестны.

Кроне удалось проникнуть в замок под видом секретаря Геринга. Но ни на одно из совещаний он не попал, как, впрочем, и никакой другой секретарь – как с американской, так и с немецкой стороны. Краткие протоколы велись поверенным Ванденгейма – адвокатом Фосте-

ром Долласом. Какое употребление он нашел этим протоколам, пока неизвестно. Доллас не из тех, кто продает свои тайны раньше, чем они могут принести ему верную тысячу процентов.

Кроне бродил по замку, томясь незнанием того, что происходит в зале заседаний. Он напрасно ломал себе голову над тем, как подсмотреть или подслушать. Тщетно исследовал исподтишка все помещения, примыкающие к залу. Даже на чердаке он наткнулся на здорового субъекта, встретившего его совсем неласковым взглядом.

Он уже решил отказаться от дальнейших попыток узнать содержание бесед путем подслушивания и начал раздумывать над тем, каким образом можно было бы просмотреть записи Долласа, когда к нему пришла неожиданная помощь в лице высокого худого человека с красным лицом, в котором он узнал Фрэнка Паркера. Вечером Паркер подсел к Кроне, тянувшему пепермент в полутемном уголке веранды.

Паркер представился Кроне так, как если бы видел его впервые. После двух рюмок он сказал:

– Быть может, побродим по саду?.. Вечер великолепен.

Кроне никогда не был любителем природы. Но ему не нужно было объяснять, почему Паркер не хочет с ним разговаривать там, где есть стены. Он с энтузиазмом ответил:

– Вы правы, вечер прелестен! Только захватим свои стаканы.

И они сошли в парк.

– Я чувствую себя, как в потемках, – признался Кроне.

– Непривычная обстановка, – заметил Паркер.

– Вы не можете раздобыть протоколы Долласа?

– Зачем они вам?

– Надо же знать, о чем там говорится.

– Я вас для этого и нашел, – в тоне Паркера появился покровительственный оттенок, который не понравился Кроне. – Скажите дворецкому, что вас не удовлетворяет комната, и попросите спальню с балконом.

– Ну и что?

– Одна такая комната осталась рядом с моею.

– Мне недостаточно вашего пересказа.

– Оттуда вы сможете слушать то, что говорится в зале.

– Вы, Паркер, молодец!

– Все было продумано заранее.

– Обидно, что я пропустил сегодняшнее совещание.

– Больше болтали немцы. Они напрямик сказали нашим, что если наладить правильное сотрудничество между Германией и Америкой, то можно будет в конце концов поделить рынки России и Китая и даже говорить об освоении этих пространств.

– Они правы.

– Наши не возражают. Вопрос в том, каким способом устранить помехи.

– Русских?

– Да.

– А официальная линия?

– Линия Рузвельта и прочих?

– Да.

– Все понимают, что с этим пора кончить.

– Что предлагают немцы?

– Они хотели бы действовать напрямик: убить того, убить другого... Они простоваты, – проговорил Паркер.

– Может быть, не такие уж простаки... Вспомните Гардинга.

– Отравить можно было Гардинга, но не Рузвельта. Он популярен у среднего американца.

– Этим он и опасен.

– Кампания, которую наци собираются открыть против Рузвельта, подействует не хуже пуль! Кроме того, немцы считают, что мы должны помочь созданию националистических обществ в Штатах.

– При их компетентном содействии? – иронически заметил Кроне.

– На кой черт они там? У Дюпона и Форда и так налажено дело: Крусейдерз, Сэнтинел и другие шайки. Кстати, – добавил Паркер, – нашим сегодня чертовски понравилось то, что немцы рассказывали об организации у них борьбы с рабочим движением. У нас, наверное, испробуют что-нибудь в этом роде и перестроят эти банды на немецкий лад.

– Да, в Германии не помитингуешь, – согласился Кроне.

– Ванденгейм сказал: мы будем дураками, если не заведем у себя таких же порядков!

– А говорилось что-нибудь насчет Австрии?

– Не очень много. Наши не хотят мешать там Гитлеру.

– Но тут придется поспорить с англичанами.

– Им нетрудно заткнуть глотку, – беспечно заявил Паркер. – Нажать на вопрос о долгах – и они живо подожмут хвост...

– А главное, главное? – в нетерпении спросил Кроне.

– Сначала они хотят решить все, что должно предшествовать кардинальному решению русского вопроса.

– Но он будет поставлен?

– Непременно! Все дальнейшее вы сможете уже слышать из своей комнаты.

– Но нам с вами не следует больше встречаться, – сказал Кроне.

– Это и не будет нужно. Только постарайтесь выведать у Геринга и сообщить нам истинные намерения немцев: не держат ли они какой-нибудь камень за пазухой.

– Скажите Ванденгейму, чтобы он не переоценивал упорства немцев, когда они будут набивать себе цену.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.